

Ю. Христинин

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ¹

*Для славы мертвых нет.
Анна Ахматова*

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Над тихим и дремотным городком Могилевом висит сентябрь. "Официальная" осень уже началась, но зелень на деревьях по-летнему свежа, и только на пыльных кустарниках, широкой живой изгородью обступивших невысокий, тщательно выбеленный двухэтажный дом, словно редкая проседь в прическе молодого человека, кое-где разбросаны желтеющие листья – предвестники приближающихся холодов.

Вокруг – ленивая патриархальная тишина, нарушаемая иногда дребезжанием пробегающих по древней гулкой узкоколейке красно-желтых старых трамваев да приглушенным фырканием подкатывающих к особняку автомобилей, из которых торопливо выходят военные в выцветших полевых мундирах, но зато с начищенными до блеска сапогами.

Судя по всему, двухэтажный дом – важное в городе заведение: вокруг него установлены три кольца охраны, состоящей из полутора тысяч солдат; на крыше ошестинились в небо вороненные стволы восемнадцати скорострельных пулеметов, предназначенных для защиты от аэростатов и цеппелинов.

В доме этом с недавних пор обосновался рыжеватый, невысокого роста полковник русской армии, занимающий две комнаты, одна из которых служит ему кабинетом, а вторая – спальней.

На людей, видевших его впервые, внешность полковника не производила особенного впечатления: был он до тоскливости обычен, говорил негромко, всегда спокойно, не раздражаясь. В обращении с окружающими был обходителен – порою даже до заискивания, которое, кстати, никогда не вызывалось нуждой или необходимостью.

Однако, в положении, какое занимал этот полковник, было нечто такое, что заставляло людей трепетать при одном его появлении, при малейших изменениях его настроения, чутко улавливать оттенки произносимых им казенных и безразличных слов.

Войдя в кабинет полковника, генерал Алексеев остановился у двери, ожидая приглашения пройти к столу. Но хозяин кабинета вышел из-за стола сам, ласково протянул гостю руку:

- Рад видеть вас в добром здравии, дорогой Михаил Васильевич, - сказал он тихо. – Что нового на фронте?

- На сегодняшнее утро существенных перемен, Николай Александрович, к сожалению, не отмечено, - успокоенный добрым приемом, Алексеев рискует величать полковника без титулов, только по имени-отчеству. – Я принес вам проект Указа, о котором имел честь беседовать с вами давеча.

- А, - словно припоминая что-то, полковник потер висок. – Уже подготовили? Столь быстро?

- Подготовили, Николай Александрович. Изволите подписать?

Плотный лист тяжелой гербовой бумаги ложится на зеленое сукно стола. Полковник долго смотрит на него, потом поднимает глаза на Алексеева:

- Орден Георгия Победоносца четвертой степени... Ведь это же самый высокий военный орден России. И удостоены его пока весьма и весьма немногие лица, не правда

¹ Христинин Ю. Сестра милосердия: повесть-хроника о жизни и подвиге ставропольчанки Риммы Ивановой. – Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 1987.

ли? И дается он, если только верить статусу, за выдающиеся воинские заслуги перед Отечеством, за беспримерную личную воинскую храбрость? Вот вы, генерал, кажется, до сих пор не имеете такого ордена?

- Не удостоен, - сухо кланяется Алексеев. – Не о моей скромной персоне речь...

- Да и сам я, - полковник подошел к окну. – И сам я получил его совсем недавно, лишь несколько дней назад. И то, - полковник понимающе усмехнулся, - и то исключительно благодаря такту и чуткости генерала Иванова. После моей поездки на передовые позиции у станции Клевень он буквально принудил Георгиевскую думу Юго-Западного фронта принять надлежащее письмо куда следует... Да вот же оно, оказывается, под рукой. Вот... "Через старейшего Георгиевского кавалера, генерал-адъютанта Н. И. Иванова повергнуть к стопам государя всеподданнейшую просьбу – оказать обожающим державного вождя войскам милость и радость, соизволив..." Гм, ну, и так далее, даже читать несколько неловко... Словом, по данному документу Георгиевским кавалером только что стал я сам. И тут вдруг... речь ведь идет всего лишь о сестре милосердия, не так ли, генерал?

- Точно так. О сестре милосердия Оренбургского пехотного полка Римме Михайловне Ивановой. Беру на себя смелость напомнить вам, что уже ранее она была удостоена трех Георгиевских отличий.

- Но... Не умалим ли тем самым назначения данного ордена? Кстати, генерал, а не интересовались ли вы: были ли награждаемы подобным беспримерным отличием женщины вообще?

- Интересовался, Николай Александрович. Таким орденом была отмечена девица Надежда Андреевна Дурова, участница двенадцатого года. Помните, она еще написала потом прелюбопытную книжицу – "Записки кавалерист-девицы"?

- Не читал, но слышал, сколь высоко она в ней отзывается о престоле и государственной власти... Стало быть, Михаил Васильевич, больше ста лет с тех пор минуло? – полковник замолчал и, по-прежнему стоя у окна, глубоко задумался.

Первым тишину рискнул нарушить Алексеев.

- Я уже имел, Николай Александрович, честь изложить причины, побудившие меня, равно как и Николая Иудовича Иванова, столь энергично поддерживать ходатайство фронтовой Георгиевской думы относительно отмечания подвигов госпожи Ивановой, однофамилицы генерала. Это необходимо хотя бы потому, что надо доставить войскам пример самопожертвования русского человека, его великой верности престолу и Отечеству. Девица Иванова в свои двадцать лет весьма подходяща для этих целей, ибо примеров, подобных содеянному ею, не так много...

Произнося последние слова, генерал несколько замялся, но все-таки вновь довольно твердым голосом повторил их, стараясь при этом смотреть полковнику в самые глаза:

- Не так много, как того нам бы хотелось... И, кроме того, совершенный госпожой Ивановой подвиг, по моему и Николаю Иудовича разумению, и точно, достоин столь высокого отмечания.

Полковник, внимательно посмотрев на генерала, подошел к столу, взял в руки перо. Вдохнув, принялся негромко читать бумагу:

- "В воздаяние подвигов, - бормотал он, - мужества и храбрости, оказанных сестрой милосердия Риммою Ивановой 9 сентября сего года... Мы своим Указом в 17-й день сентября Капитулу данным, пожаловали ее кавалером Императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия четвертой степени..."

Он аккуратно обмакнул перо в чернильницу, посмотрел близоруко на его стальной кончик: не налипло ли чего. И размашисто расписался – *Николай*.

Слегка потряхивая листом в воздухе, чтобы просушить таким образом подпись, принадлежавшую русскому императору Николаю Романову, начальник Генерального штаба сухо поклонился Верховному главнокомандующему и едва ли не на цыпочках

направился к выходу. Он был вполне удовлетворен результатами своей миссии: проект Указа с этой минуты превратился в самый настоящий императорский Указ за номером 1006...

ОТПУСК С ПОЕЗДКОЙ ДОМОЙ

В тот вечер Римма осталась в своей комнате на втором этаже старого родительского дома одна. Она ушла сюда почти сразу после ужина, сославшись на головную боль.

- От жары, наверное, - сказал мать без особой тревоги. - Поди, приляг, легче станет.

А Римме просто хотелось побыть одной. Она стояла у окна в простенькой хлопчатой рубашке до колен, глядя широко открытыми глазами на полную луну. Римма сочувствовала ей: несчастная, ведь она там, своем холодном далеке, совсем одна и даже не знает, что завтра приезжает, наконец, Володенька!

Она ждала этой встречи давно - с того самого счастливого дня, когда пришла его телеграмма: предоставлен отпуск с поездкой домой. Узнав об этом, несказанно обрадовалась мать, улыбнулся своей несколько казенной улыбкой старого чиновника консистории отец. Но Римма... О, она буквально засветилась от счастья: брат приезжает домой, на целых две недели! Может быть, у него вся грудь в орденах и медалях, хотя отец утверждает, что военным медикам дают награды не шибко часто. Но откуда это отцу и знать? Он ведь никогда не был настоящим героем, никогда! А Володеньке, безусловно, награды вышли, если даже другим медикам они и не выходят вовсе: он такой храбрый. Он мог еще в детстве залезть на самый верх стоящей во дворе старой груши, а потом, раскачав вершину, прыгнуть с нее, пренебрегая опасностью, прямо на землю. Ни у кого из мальчишек подобный отважный трюк не получался. А когда она сама однажды решила после очень недолгих колебаний повторить его, то долго потом ходил с оранжевыми пятнами йода на носу и коленках...

Два года Ивановы не видели Владимира. Ему уже был положен в полку очередной отпуск, когда началась война.

Они узнали о ней утром - по необычному шуму, ворвавшемуся вдруг в форточки их маленького домика на Лермонтовской улице. Римма, соскочив с постели, как всегда подбежала к окну, прижалась еще неостывшим после сна теплым лбом к холодному стеклу. около уличной тумбы, на которой белели прямоугольники каких-то свежерасклеенных листов, толпился народ. И толстый городской, приняв почему-то до смешного нелепую позу и положив красную здоровенную руку на "селедку" - так ребята с улицы называли его огромную шашку, - натужно крикнул сиплым от табака и частого употребления горячительного голосом:

- Государю императору Николаю Александровичу - ура, господа! Мы намолотим немцу по мордасам!

"Что это с ним? - потянувшись и откинув со лба длинные и волнистые рыжеватые волосы, подумала Римма. - С ума спятил, что ли? Кого это он решил молотить по мордасам, какого немца?"

Толпа между тем ответила городскому тягостным молчанием, и тот, сделав вид, что ничего не произошло, солидно прошествовал дальше, к следующей тумбе.

В комнату вошла мать, хмуро посмотрела на дочку. И вдруг не на шутку рассердилась:

- Какая же ты, право, бесстыдница! - в сердцах воскликнула она. - Десятый час, отец уже давно на службу ушел, а ты все в одной рубашке разгуливаешь! Немедленно одевайся да ступай поскорее чай пить.

И, тяжело вздохнув, размашисто, как всегда, перекрестилась:

- Ах, беда-то какая, господи! Беда-то какая страшная...

Римма, уже потянувшая было кверху, на голову, рубашку, остановилась:

- Какая такая беда, маменька? Разве случилось что?

Она схватила мать за руку и порывисто прижалась к ней:

- Ой, а утро какое хорошее... Неужто и вправду стряслось что-нибудь гадкое, а, маменька?

Она отстранилась, зябко повела хрупкими плечами. А мать, словно вес силы вдруг покинули ее, опустилась на дочерину постель:

- Война, Риммочка. Война, милая ты моя... Боже мой, боде! Что теперь будет-то, господи? Германец, не дай господь ему здоровья, на нас тронулся, на всех столбах высочайший манифест расклеен... А наш Володенька-то в армии!

Римма не нашлась что ответить...

Владимир, как и следовало ожидать, в отпуск тогда не приехал. Письма и те приходили от него редко, зато каждое из них становилось в доме праздником. Сначала их подолгу читал и разглядывал отец, потом мать, и лишь после ими завладевала Римма. Даже выучив их на память, девушка все равно не желала расставаться с листками, исписанными торопливыми буквами. Она с восторгом смотрела на картинку: бравый русский солдат с блаженной улыбкой на загорелом мужественном лице вонзает штык в толстое пузо усатого кайзеровского офицера.

Со временем они просто перестали поджидать Владимира в отпуск. И вот - совершенно непредвиденное: телеграмма. Володенька уже в пути, он завтра будет в Ставрополе!

... Поезд подходил к станции в десять часов вечера. Было очень темно, и Римма не сразу признала в выпрыгнувшем из второго вагона бравом офицере своего брата. Спешивший ей навстречу мужчина был, казалось, намного выше Володеньки ростом, и даже заметно шире в плечах. Но, странное дело, именно он вдруг подхватил Римму на руки и оторвал, как пушинку, от земли. К ее щекам прижались его жесткие, прокуренные и обветренные губы.

- Володе... - попыталась было вскрикнуть она. Но он закрыл ей рот поцелуем, а затем прижался лицом к длинным волосам.

- Володенька, дорогой! - от вокзала подбежала к нему задыхающаяся от бега и волнения мать. А отец, солидно остановившись поодаль, терпеливо ожидал, когда женщины, по его выражению, "оросят ребенка слезами". И только после того Михаил Павлович подошел к сыну.

- Ну, - сказал коротко, - давай обнимемся.

Они крепко, как это делают мужчины, обнялись, поочередно даже приподняв один другого: в руках отца, человека еще крепенького, хранились немалые запасы силы.

- Ну, и слава богу, - ворчал он, усаживаясь и извозчичью пролетку, - слава богу, что еще хоть один мужик в дом прибыл, а то мне совсем уж нет никакого житья от прекрасного полу. С утра до ночи только одни ахи да охи слышишь.

- Замучился вконец, бедненький, - утирая кружевным платочком уже и без того просохшие на ветру слезы, с улыбкой возражала Елена Никаноровна. - Посмотри, сынок, как папенька исстрадался, вон какой убогий сделался...

Солидно, но не очень решительно и громко хмыкнув, старший Иванов попытался было подтянуть небольшое, но достаточно округлое пузцо. Когда же названное деяние в силу каких-то неуточненных обстоятельств ему не удалось, Михаил Павлович несколько даже сконфузился.

- Времена ноне ох какие тяжкие, - сказал он протяжно и несколько виновато. - Народ с голоду пухнуть начинает. Хлеб с отрубями люди пекут.

- Вижу, вижу, - рассмеялся сын. - Конечно же, этот животик с голоду, от чего же еще! Откуда ему и взяться, коли не от хлеба с отрубями!

Все расхохотались громко и дружно - извозчик, обеспокоившись, даже обернулся:

- Чего изволите, господа хорошие? - спросил он.

- Ничего, брат, только погоняй скорее, - засмеялся Владимир. - Домой знаешь как хочется? Полтора года в родных пенатах не был!

- Там и сейчас все так же, как ты оставил, - похвалилась торопливо Елена Никаноровна. - Даже на окне книжка твоя лежала, еще Риммочка прибрать ее куда-то на место хотела. Так я ей не велела этого делать... Знаешь, говорю, доченька, примета такая есть: если в комнате оставить все, как было при хозяине, он туда обязательно вернется. Вот ты и вернулся, сыночек, - и мать припала лицом к грубому сукну шинели. А Римма прикоснулась к скрещенным на спине брата блестящим и скрипучим портупейным ремням. Они были гладкие, как лед, и почему-то почти такие же холодные. Она отдернула руку.

Дома, войдя в гостиную, Владимир торопливо снял шинель, швырнул ее на кресло. Расстегнув крючки стоячего воротника на кителе, подошел к столу, заблаговременно уставленному всякими разносолами.

- Боже мой! - сказал он нараспев. - Неужели я дома?!

Римма сразу же углядела на груди брата маленький крестик на оранжево-черной ленте: Георгий!

Она все смотрела и смотрела на этот крестик, вдруг ставший для нее магическим. Какой-то неудержимый восторг охватывал ее. Вот! Она знала, что Володенька придет с наградами! А отец только понапрасну возражал... А что, если... если потрогать крест рукой? Или взять да попросить его... поносить немножко?

- Ну, сын, садись, - распорядился Михаил Павлович. - Вот баранинка, вот хлеб. Между прочим, пшеничный. Вот ячневая каша с хренком, твоя любимая. Мы живем небогато, но не зря же говорят на святой нашей Руси: чем богаты, тем и рады, никому не завидуем. А вот, кажись, и маринованные грибочки, сам собирал в Архиерейском лесу... Э, мать, - он обернулся к жене, - что же это такое?

- А что случилось? - притворилась ничего не понимающей Елена Никаноровна.

- Грибочки, как ты знать должна, суть закуска! А что же то за закуска, коли к ней не придано водочки? А, мать?

Елена Никаноровна, повздыхав, достала большую зеленоватую бутылку. Михаил Павлович, лихо опорожнив стопку, загрыз грибочком, перекрестил на всякий случай рот.

- От всякого греха. А то что-то травиться грибочками люди начали... За что Георгия-то тебе пожаловали?

- Да, Володенька! - радостно подхватила разговор Римма. - За что? Ты подвиг, наверное, совершил, да?

- А ты, егоза, не высовывайся, - покосился на нее больше для порядка Михаил Павлович. - Когда мужчины разговаривают промеж собой, девицам вмешиваться в их разговоры не приличествует.

Римма досадливо прикусила губу:

- Право же, папенька, я вовсе не собиралась вас перебивать! Не мне так интересно... Я даже думаю, что Володенька ходил в атаку, и... все такое. Правда же, Володенька?

- Ага. Еще и как ходил.

- И солдаты ходили за тобой?

- Ага. Даже не ходили, а бегом бежали. - При это он как-то неестественно улыбнулся. - Я, понимаешь ли, поднялся и бросился вперед. А за мной, значит, монолитными стальными рядами бросились наши отважные воины, наши, значит, чудо-богатыри. Вокруг нас свистела шрапнель, рвались бомбы. Но мы уверенно продвигались вперед, неся в груди святую верность престолу, не считаясь с тяжкими потерями. Мы были одержимы одним только желанием...

- Победить, да? - бледнея от услышанного, одними губами спросила Римма: она не уловила в голосе брата иронии.

- Ага, победить! Впрочем, наверное, нет. Знаешь ли, у нас на фронте как-то держал речь один высокопоставленный поп, какой-то придурковатый, каковых, в основном, и

призывают из резерва в армию... Так вот, он рассказывал нам о славной гибели рядового Имярек. Его взяли в плен, поставили к стенке. И пустили пулю. но он не погиб, а просто свалился на колени и при этом провозгласил здравицу в честь нашего государя императора. Тогда его решили повесить. Но упрямый Имярек вешаться, видимо, не захотел: веревка оборвалась, а он воспользовался моментом, чтобы прокричать многая лета всей царской семье. Тогда его просто утопили... И, судя по тому, что со дна реки наружу шли многочисленные пузыри, Имярек и будучи на дне продолжал кричать что-то патриотическое... Короче говоря, поп кончил свой бред весьма своеобразно. он изрек: "От всей души желаю вам, дети мои, каждому из вас дожить до такого же счастья, до какого дожил упомянутый рядовой..."

Владимир закурил папироску и, довольный впечатлением, произведенным на сестру примитивным армейским анекдотом, напыщенно добавил:

- Вот с мыслью, что мы тоже можем дожить до подобного счастья, и шлепали мы тогда в эту самую атаку. Каждому из нас, понимаешь ли, неудержимо хотелось как можно скорее получить пулю за царя-батюшку и его августейшую семью. И я бы, пожалуй, удостоился столь высокой чести, но мне помешали...

- Кто же?

Он рассмеялся снова:

- Блохи, сестренка. Как начали, проклятушие, кусаться во время той атаки, сладу нет! Пришлось остановиться посреди поля, чтобы как следует почесаться. А солдаты - вперед и вперед. "Ура! - кричат. - В штыки!" Мы, короче говоря, победили. И, поскольку все, кто ходил в атаку, удостоились высокой чести положить животы за дело царское, а в живых нас осталось только двое, нам и дали награды!

Мать снова тревожно нахмурилась, сдвинула к переносице брови.

- Нехорошо, Владимир, - сказала она. - Ты, кажется, смеешься над такими вещами, над которыми никому смеяться не следует. Тебе не следует забывать, что и царь и священники - от самого Бога!

- А как же блохи, маменька? Ведь и они, бедненькие, тоже от Бога, - живо возразил Владимир с хитроватым выражением на лице. - И я должен к тому же заметить, что если царь один, то ведь блох - миллиарды, просто неисчислимое количество! А раз их больше, значит, они и более угодны Богу, нежели цари и священники.

- Владимир! - Елена Никаноровна величественно поднялась со скрипнувшего от резкого движения ее грузного тела венского стула, - ты, кажется мне... ты, наверное, излишне много... выпил! Разве можно так говорить о государе, о...

- Можно, маменька, можно! - как ни в чем не бывало, выпустив кольцо дыма, снова иронично улыбнулся сын. - Я ведь к вам прямоком - прямоком из окопов, а окопникам, знаете ли, все можно. Там солдат, к примеру, может хряснуть по морде офицера, а тот не может ему даже дать сдачи...

Михаил Павлович, заглотивший под шумок еще одну рюмочку, расхохотался:

- Ну и мастер же ты, Володька, сказы сказывать! За тобой, впрочем, это еще сызмальства водилось... Думаешь, отец с матерью в военном промысле совсем ничего не соображают? Мать, может, и так. А я же никогда не поверю, чтобы русский солдат на русского же офицера руку поднял!

Владимир улыбнулся, и, не отвечая на вопрос отца, повернулся к Римме:

- Итак, сестренка, о моих бессмертных подвигах ты слышана достаточно подробно. А теперь рассказывай о своих. Ты год назад из Ольгинской гимназии выпущена, не ошибаюсь? Что после окончания делала, чем занималась?

- Риммочка, расскажи, что ты была гордостью гимназии, - с достоинством вмешалась в разговор мать. - Она - и наша гордость.

- Пойдем, сестренка, - поднялся Владимир. - Пойдем по своим комнатам. До завтра, дорогие мои! Как же приятно все-таки снова чувствовать себя в родных стенах!..

Римма торопливо чмокнула обоим родителям в щеки и, подобрав край длинного розового платья, побежала за братом. Она сразу же устремилась в свою комнату. Почему-то ей казалось, что и сейчас, как когда-то раньше, брат зайдет сначала не к себе, а к ней. Сядет на самый край постели, в ногах, и скажет как тогда, несколько лет назад, заговорщицким приглушенным голосом:

- Знаешь, Римка, кого я сегодня видел?

- Кого? - торопливо спросит она, замирая в предвкушении близкого чуда.

- Этого, - небрежно ответит он, - ну, как его называют... Домового видел, вот кого!

- Домового? - радостно запищит она. - Ну да, Володенька?

- Да, видел.

- Какой же он? Страшный? - сестра, конечно же, нисколько не верит брату. Но порою так хочется поверить в чудо!

- Лохматый, - вдохновенно начинает врать Володя. - Бородища - во! И язык у него тоже того... шерстью обросший. Как твоя шуба. Подходит ко мне и говорит...

Брат умолкает, а потом, сделав страшное лицо, рычит:

- "А ты, - говорит, - Иванов, почему в сей час поздний по улицам болтаешься? Закон божий опять, поди, не выучил?" Остановился в ужасе, дрожат коленки, холодный пот по челу струится, аж зенки залил... Приглядываюсь я получше. И вижу: пресвятой господи, да ведь это и не домовый вовсе меня на улице в десять вечера поймал, а наш батюшка Филарет, учитель закона божьего! Только облачение на нем отчего-то задом наперед надето, да водкой за версту вперед пахнет. И рычит на меня, аки лев...

Оба они весело и долго смеются. А потом Римма, встречая на улице пьяненького отца Филарета, всегда обязательно вспоминала рассказ брата и, представив священника в образе домового, никак не могла удержаться от смеха, на что отец Филарет однажды указал ей, укоризненно покачав головой в потертой фетровой шляпе:

- Нехорошо это, отроковица, нехорошо. От осмеяния человеков недалеко до всякого блудодейства. Будь впредь смирнее и богобоязненнее, ибо горе тебе в жизни выйдет великое!

В ее памяти все это вдруг предстало столь живо, что она не выдержала и схватила брата за руку:

- Пойдем же скорее! Ну, Володенька, поспешим!

В комнате она, сбросив туфли, прыгнула с ногами на диван.

- Садись и ты, Володенька. Ну же?

- Что "ну же"? - он как будто бы даже удивился вопросу.

- Рассказывай скорее!

- Что рассказывать?

- Да про награду рассказывай! Я заметила: ты при папеньке и маменьке со мной несерьезно говорил, а просто так, дурачился. А мне все хочется знать, как на самом деле было!

Он вдруг усмехнулся:

- А тебе-то про то зачем и вообще ведать надобно? Поверь, мне и вправду хвалиться особенно нечем. Война, сестрица, всегда остается войной. Кровь, пот, блохи, которые столь маменьку возмутили... И смерть, конечно. Все время рядом с тобой - смерть. Не будем о ней, ладно? Ты мне лучше о себе расскажи. Чем год занималась? Папенька сказывал, где-то учительствовала?

- Учительствовала. Недалеко отсюда, в Петровском селе. Верст семьдесят всего. Там есть школа первой ступени, а в ней тридцать шесть ребятишек. Мне предложили туда, и я поехала.

- А потом? Как снова в Ставрополе оказалась? Или надоело заниматься новоявленным народничеством?

- Я почти перед самой войной домой приехала, - опустила почему-то глаза Римма. - И сразу пошла, как война началась, на курсы сестер милосердия. Позавчера свидетельство об окончании получила. Вот, посмотри, какое.

Она потянула с полки над головой плотный сероватый лист бумаги:

- Видишь: все только на "отлично"!

- Зачем тебе эти самые курсы сдались? - брат сердито посмотрел на Римму. В глазах его на мгновение промелькнула тревога. Не на фронт ли, часом, собралась?

Она подняла на него глаза, и улыбка сразу слетела с ее чуть припухших, словно у годовалого ребенка, губ.

- Да, Володенька, - шепотом призналась она. - Только боюсь, папенька с маменькой не пустят. Помоги мне, уговори их, а? Поможешь? - она бросилась брату на шею, прижавшись щекой к еще не сбритой дорожной щетине. Он поднял руки, молча отстранил сестру от себя. Нахмурился.

- Не дури! - сказал грубо и резко. - Война как-нибудь состоится и без тебя. Это - штука суровая, чисто мужская.

Пухлые губы обиженно задрожали; чтобы ненароком не разреветься, Римма отвернулась и крепко сжала кулаки.

- Когда Отечество в опасности, - сказала она замирающим голосом, - никто не вправе оставаться в стороне. Каждый должен... в меру сил своих... И я тоже должна, как все... - она совладала с закипавшими в голосе слезами. Решительно посмотрела на брата. - Я, Володя, должна быть вместе со своим народом, с нашим русским народом. Я - всего лишь частичка этого народа, и меня нельзя отрывать от него. Даже ты не имеешь на это никакого права! Когда плохо всем, почему мне должно быть лучше других? Почему, брат?

- Эх, сколь торжественно и возвышенно говорить изволите, милая сестрица милосердия! - не на шутку рассердился Владимир. - Да ты, я вижу, совсем у стариков из подчинения вышла! Глупостей вон каких в голову забрать изволила! Девчонка!

Он вскочил, заметался взад-вперед по комнате, мимо робко затихшей в диванном углу Риммы. Подцепил носком сапога оказавшийся случайно на его дороге стул, и тот с грохотом полетел куда-то в угол. Владимир опустил в кресло напротив.

- Слушай, сестренка, только не перебивай, внимательно слушай. И не сердись, я намерен говорить тебе об этой войне всю правду.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ВОЙНЫ

Июль четырнадцатого года² в Галиции выдался для русских войск трудным. После временных успехов, оказавшихся на поверку весьма непрочными, части генерала Ивана Егоровича Эрдели отступали.

Госпиталь, в котором служил Иванов, то и дело вынужден был перебазироваться с места на место. И хотя находился он, как правило, в пяти-шести километрах от линии фронта, затишья и здесь почти никогда не было. Раненые поступали с передовых нескончаемым потоком.

Хирурги, в том числе и младший врач Иванов, валились с ног от усталости. Кончился эфир, и операции приходилось делать без наркоза, стараясь не реагировать на душераздирающие крики, стоны и проклятия раненых. Инструменты даже не дезинфицировали - прооперировав одного и вытерев скальпели о тряпку, сразу же принимались за другого.

Небритые, грязные и вонючие от застарелого пота, давно не мывшиеся в бане люди, поступающие в палатку Иванова, в подавляющем большинстве были обречены.

² Здесь и далее даты приведены по старому стилю.

Почти всем им требовалась серьезная медицинская помощь, о которой в подобных условиях не могло быть и речи.

Бинтов в госпиталь не подвозили почти целую неделю, и потому Иванов был несказанно обрадован, завидев из окна операционной запряженную парой кляч интендантскую фуру, которая катила по дороге со стороны, прямо противоположной фронту. Вместе с прапорщиком Алешей Учинским, который был начальником службы снабжения госпиталя, тоже, между прочим, ставропольцем, они бросились к фуру.

- Все сюда! - начальственным радостным баском закричал Алеша. - Все, кто не занят на операциях, немедленно на разгрузку! Там же медикаменты, бинты. Скорее!

Крепким ударом подвернувшегося под руку камня он, не дожидаясь, пока солдат-возница принесет и подаст ему ключ, сбил с двери крохотный подвесной замок. Заскрипели засовы, и люди увидели в утробе фуры аккуратные картонные ящики, заполнявшие все свободное место. Раскрыв один из них, Алеша в недоумении отступил назад:

- Что это?!

Иванов тоже склонился над ящиком, но не смог произнести в ответ ни единого слова: ящик был полон крохотных нательных иконок на желтоватых латунных цепочках.

Вскрыли второй ящик, третий, пятый... Потом начали вышвыривать их из фуры прямо не потрескавшуюся, давно не выдавшую дождей землю. Ящики лопались, не выдерживая удара, и из них сыпались на землю иконки, иконки, иконки... Тяжело дыша, с раскрасневшимися потными лицами, офицеры стояли перед целой горой икон.

- Эх-ма, мать Пресвятая Богородица! - вздохнул за их спинами солдат-возница. - За нынешний день вторую фуру этого вот святого груза привожу... А там, на станции-то, еще два вагона... Говорят, подарок нашему брату от самой государыни. Чтоб про Бога мы туточки не забывали. С нами крестная сила!

Солдат перекрестился и снова вздохнул.

- Алеша, дай, пожалуйста, команду, чтобы офицерские простыни срочно распустили на бинты, - попросил друга Иванов. - Иначе - просто не выдержим. Вон к нам, кажется, опять везут раненых.

С очередной партией доставили раненного в грудь полковника - еще сравнительно молодого человека, лет около сорока. Он был без сознания, метался, бредил, тяжело и матерно ругался. Его уложили на стол, санитары навалились на руки и ноги, чтобы удержать оперируемого в относительно неподвижном положении.

Иванов, натянув перчатки, приступил к операции и довольно скоро извлек из предплечья снарядный осколок изрядных размеров.

- Отнесите его, пожалуйста, в мою палатку, - попросил он, окончив работу, - после подарю его полковнику. Туда же доставьте оперированного.

И тут вдруг случилось неожиданное: чахлый лесок, который столь символически отделял госпиталь от линии фронта, казалось, взлетел на воздух. Раздался грохот, сквозь кроны деревьев прорвались вверх густые клубы дыма. Заходила ходуном земля, посыпались куски разлетевшихся стекол. Это был первый массированный залп батареи противника, которая не только сумела скрытно просочиться на позиции за линией фронта, но и успешно разместилась там. Второй залп сорвал саму палатку, и Владимир увидел, как лежащий на столе очередной раненый полетел, страшно раскинув безжизненные руки.

Самого Иванова отбросило в другую сторону. Спустя несколько минут он с трудом поднялся, ощущая странный, прерывающийся звон в ушах и пошатываясь. "Кажется, немножко контузило, - подумал он почему-то совершенно безразлично. - Видно, немцы решили нас обработать по-настоящему".

- Володя! - к нему вбежал прапорщик Учинский. - Что с тобой? Почему молчишь? Что случилось, Володя? Господи, да ты же весь в крови! Бежим, Володя! Скорее, умоляю тебя!

- Бежим... - ответил Иванов и подумал: "Что же это они, гады, делают? Ведь по госпиталю бьют, по красным крестам... И почему наши молчат?"

И тут ему вспомнилось, как пару дней назад один умирающий солдат на его вопрос о самочувствии, едва шевеля холодеющими губами, ответил:

- Ничего... только вот... нам бы патронов побольше давали, ваше благородие... А то по семь штук в сутки на брата... по семь... по семь штук...

Он так и умер с этими словами на устах: "По семь... по семь штук, ваше благородие..."

Вся территория госпиталя мгновенно превратилась в крошечный ад: ржали метавшиеся лошади, слышались крики офицеров и стоны раненых, во всем этом хаосе тонули собственные голоса Иванова и Учинского. Потом из лесу показались немцы...

- Бежим, Володя! - снова закричал Учинский, хватая его за рукав. - Нам все равно сопротивляться нечем, патронов нет... Скорее туда, в ложину! По ней, даст бог, доберемся до своих. Иначе - конец!

- Там раненый, - бессмысленно глядя на друга, ответил Владимир. - В моей палатке. Полковник...

Они вдвоем подняли грузное тело офицера и спустились в ложину. По самому ее дну пробегал крохотный, едва заметный, неторопливый ручеек. Если вырыть на его пути ямку и минуточку подождать, пока в нее набегит вода, то можно попить и даже умыться. Учинский снял с пояса тесак и вырыл ямку. Они с наслаждением побрызгали лица водой, с тревогой прислушиваясь, как там, наверху, стихает грохот канонады. Оба дрожали от только что пережитого ужаса.

- Неужели, - спросил наконец Владимир, - кроме нас никто не уцелел? Надо бы подняться, взглянуть, а? - Он попытался усилием воли унять мелкую противную дрожь, охватившую все его существо, но ничего не смог с ней поделать: это был страх, самый обыкновенный человеческий страх.

- Не выдумывай, - хрипло отозвался Алексей. - Теперь все равно дела не выправить. Царапина у тебя совсем засохла... Словом, будем то темноты сидеть тут, а там - один бог ведает! Дай лучше и полковнику воды. Он, кажется, приходит в себя?

Раненый застонал, облизал сухие губы, приоткрыл настороженные глаза.

- Вы ранены, господин полковник, - склонился к нему Владимир. - Пришлось сделать операцию. Осколок я вынул, не беспокойтесь. Вы будете жить. А сейчас спите.

- Спасибо, - едва слышно проговорил полковник. - Я так вам... так... - и закрыл глаза, сознание вновь его покинуло.

Потом всю ночь напролет они шли по ложбине, таща на шинели тяжеленное, словно каменное, тело полковника. И лишь часов в пять утра, когда уже начинал брезжить рассвет, их окликнули часовые передового охранения Самурского пехотного полка.

Его командир - полковник Казимир Альбинович Стефанович - выслушал рассказ Учинского и Иванова о том, что произошло вчера во второй половине дня в нескольких километрах от линии фронта.

- Ах, какие сволочи! - бормотал он, меняясь в лице. - Что творят, что творят! Ну, да ничего, мы с ними и за это еще поквитаемся, по полному счету заплатить попросим! А только тяжело... А что ваш полковник? Он жив?

- Жив, - ответил Владимир, - хотя, признаться, и плох. Мы передали его санитарам, надо заменить повязку.

Стефанович поднялся.

- Что ж, господа, - сказал он тихо. - Вы сделали доброе дело... Давайте пройдем к полковнику, посмотрим.

Едва взглянув в лицо раненого, он тихо присвистнул:

- Однако, если с ним все обойдется, вы можете рассчитывать на великую благодарность и признательность! Имеете ли честь знать, кто находится перед вами, кто обязан вам жизнью?

- Никак нет, ваше превосходительство! - ответил Иванов. - Смеем только полюбопытствовать. Вы, как видно, знакомы с полковником?

- Это же князь Василий Борисович Тихвинский, Российского Генерального штаба инспектор... Весьма влиятельное лицо, да, к тому же, и личный друг нашего командующего фронтом. В былые времена мы вместе с ним проходили курс в одном корпусе. Давненько, правда.

Стефанович замолчал, разглядывая серое лицо бывшего своего однокашника. А потом повернулся к едва стоявшим на ногах от усталости офицерам:

- Стало быть, господа, от вашего госпиталя, как я понимаю, ничего не осталось? Больно, да что поделаешь... Посему считаю, что дальнейшую свою службу вы сможете проходить в моем полку - нам нужны и медики, и тыловики: потери, к сожалению, за последние недели были более заметными, чем предполагали в Генштабе. Согласны, господа, с моим предложением?

Оба молча кивнули в знак согласия.

- Вот и хорошо, - повернулся к двери командир полка. - В армии вопрос я улажу сам, об этом не извольте беспокоиться. Явитесь к своему новому начальству и доложите о том, что готовы приступить к исполнению должностных обязанностей. Всего вам доброго, господа офицеры!

Спустя неделю пришел приказ командующего фронтом: по согласованию с фронтовой Георгиевской думой за мужество, проявленное при спасении жизни старшего начальника, прапорщики Алексей Учинский и Владимир Иванов удостоены чести быть кавалерами ордена Святого Георгия Победоносца. Сообщая им об этом, Стефанович добавил от себя: по просьбе князя он счел возможным предоставить каждому по две недели отпуска с выездом к месту проживания.

А еще примерно через месяц (они тогда еще не успели уехать в отпуск) к ним в палатку заглянул высокорослый человек с темными волосами, выбивающимися из-под полевой зеленой фуражки.

- Сидите, господа, - он жестом усадил попытавшихся встать перед старшим по званию прапорщиков. - Могу ли я видеть господ Иванова и Учинского?

- Это мы, - ответил Алексей, который первым узнал гостя.

Полковник широко улыбнулся, протягивая им сразу обе руки.

- Как же я рад видеть вас, господа! - сказал он. - Как я признателен вам за все, что вы для меня сделали! Позвольте представиться: полковник Тихвинский, Василий Борисович. Вот, благодаря вам, живой и даже стоящий на ногах. Прошу вас, господа, оказать мне великую честь считать себя отныне и навсегда, до самой гробовой доски, вашим искренним и верным другом.

Он подробно расспросил офицеров обо всех мельчайших обстоятельствах своего спасения. И, уходя, снова долго тряс ими руки.

...В комнату Риммы с улицы залетали ночные бабочки, и Владимир, осторожно прикрыв окно, с улыбкой превосходства посмотрел на потрясенную его рассказом сестру.

- Вот видишь, - сказал он, - какова она, война, на которую ты так рвешься! И никто не сможет облагородить ее, сделать лучше и романтичнее, ибо она бесчеловечна по самой своей сути. Туда тебе хочется, сестрица? Туда?

Римма молчала, глядя на него глазами, зрачки которых от всего услышанного расширились.

- Война - дело кровавое, чисто мужское... Обойдется она, сестрица, без тебя, - желая хоть как-то смягчить произведенное впечатление, сказа он, положив руку ей на плечо. - Ну, теперь-то ты довольна рассказом? Я поведал тебе об этой награде все без утайки, как ты настаивала.

- Так ты приехал в Ставрополь вместе с товарищем, да? - меняя тему разговора, спросила она.

- С Учинским. Мы с ним на фронте все время вместе были. Завтра он обещал прийти ко мне. Хочешь, познакомлю? Весьма симпатичный и приятный молодой человек...

- Зачем же? - вспыхнула сразу она. - Мне до его симпатичности и приятности нет никакого дела!

- Еще будет дело! - уверенно засмеялся Владимир. - Скоро будет! Вон какая ты красавица, совсем невеста стала! - Он прошелся по комнате и, легко вспрыгнув, уселся на подоконник. - Ну, а теперь твой черед рассказывать. Говори о себе. Я - молчу и слушаю! Что это за дыра, в которую ты ездила? Петровское село, говоришь? Давай же, рассказывай, я тоже умираю от нетерпения!

ШКОЛА В ПЕТРОВСКОМ СЕЛЕ

Степное село Петровское в Ставропольской губернии - тихое и старозаветное. Ничем особенным оно не примечательно. Разве тем только, что кабаков уж очень много. Один из них - с призывным названием "Пей другую!" - расположился непосредственно напротив входа в школу первой ступени, куда и была направлена учительствовать после окончания Ольгинской гимназии с педагогическим уклоном Римма Иванова. Навстречу ей из покосившейся одноэтажной школы вышел маленький и седенький, но крепкий кривоногий старичок в засаленном, словно спецовка железнодорожного осматрщика, вицмундире по ведомству народного просвещения.

- Заведующий школой Коростылев, - мрачно представился он. - Митрофан Васильевич. Впрочем, если душе угодно, можете величать меня просто дедом Митрохой - так меня в Петровском больше, кажется, знают... На работу приходите завтра, часиков в восемь утра. На сем имею честь откланяться и пожелать вам всего самого доброго!

И он пересек улицу, зашел в трактир. Возница тем временем бесцеремонно сбросил ее коробки и узлы с книгами и вещами на землю, сказав: "Прощайте, барышня, дай вам бог доброго жениха да здоровья!" - и, поскольку расчет получил раньше, без лишних колебаний укатил.

Она в растерянности смотрела на открытую дверь трактира и ждала. О работе заведующий сказал, а вот куда ей определиться на жительство?

Долго пришлось ждать. Наконец, Коростылев вышел из трактира, огляделся по сторонам, а потом, словно заметив что-то особо ценное под ногами, несколько минут, сгорбившись, пребывал в раздумье. Вполне вероятно, что он хотел наклониться, но у него не было уверенности в том, что после этого удастся снова принять изначальное положение. И, заметив это, Римма сообразила: господи, да ведь Митрофан Васильевич мертвецки пьян! Она подбежала к нему и, чувствуя волну поднимающейся в груди неприязни к этому человеку, спросила:

- Митрофан Васильевич, вы меня помните?

Он серьезно посмотрел на нее, а потом, довольно засмеявшись, зажмурил один глаз.

- Д...воится, - небрежно пояснил он. - О... одним сподручнее. И зачем человеку два глаза? У вас тоже два глаза?

- Я - новая учительница. Я сегодня приехала. Мне жить негде.

- Да, - тянул он свое. - Вы правы. Тело, погруженное в воду или иную какую жидкость, вытесняет... А вы... что от меня хотите? Вы кто такая?

Коростылев глупо улыбнулся:

- По...пожалуй, я прилягу. Р...разморило что-то, понимаете ли.

И, завернув на нетвердых ногах за угол трактира, он немедленно привел свое намерение в действие, растянувшись прямо на голой земле.

И тут Римма не выдержала, заплакала.

Ее подобрала около девяти вечера возле здания школы какая-то пожилая добродушная женщина.

Назвалась Ворониной Агриппиной из мещанского сословия, вдовой. Отвела Римме в своем довольно большом, но почти пустом и потому неуютном доме комнату, попили вместе чайку, сразу же сошлись в цене.

- Ну, дочка, - ставя на стол семилинейную керосиновую лампу и собираясь уходить, хозяйка повернулась к Римме, - не плачь, почивай спокойно. А на того Митроху, старого кобеля, ты наплюй и внимания не обращай. Он у нас в Петровском - самый первый пьяница: пустой человек, а не учитель. Его даже мужики просто Митрохой величают.

Агриппина состроила скорбное лицо:

- Разве ж можно учителю так вот пить безмерно горькую? В летошний год ни одного дня его тверезым не видела. И ты, дочка, не скоро, наверное, увидишь... Да и робить с ним, таким пьяницей, поди, что на каторге в железах камни таскать...

Но Римма очень скоро увидела Коростылева трезвым. Утром, когда она прибежала в школу, он уже стоял в коридоре.

- Здравствуйте, Митрофан Васильевич. Я пришла. Не опоздала?

Он молча и тупо уставился на девушку.

- Вы меня не признали, Митрофан Васильевич? Я - новая учительница. Иванова Римма... Михайловна. Я приехала вчера из Ставрополя.

- А... - В мутной голове Коростылева, видно, вспыхнула на мгновение какая-то лампочка, впрочем, не особенно яркая. - Припоминаю... Вы уже устроились? Скоро эти придут... дети, значит. Разбойники с большой дороги, сплошь, будущие уголовники! Что читать им будете?

- Я, - смутилась она, - могу из русской литературы, естественной истории, истории России, географии. Немножко по языкам.

- Языки нам тут ни к чему, - усмехнулся Коростылев. - У нас не гимназия, благодарение богу. А вот литературу вы им, пожалуй, и вправду сегодня почитайте. А то я, признаться, что-то не могу. Приболел, мабуть. Жар, кажется, откуда-то на мою грешную головушку свалился.

Он тяжело вздохнул.

- Но я не знаю, на чем вы остановились на предыдущих занятиях. О чем читать? - забеспокоилась Римма.

- Какая разница? - философски спокойно спросил Коростылев. - Ни на чем мы не остановились. Почитайте им что-нибудь, целиком на ваше усмотрение. К нам сюда начальство, благодарение богу, отродясь дороги не ведало, так и нет нужды особо усердствовать. Что захотите, то и читайте.

Он помолчал, пожевал сероватыми тонкими губами:

- А как надоест, так и отпустите с миром этих разбойников.

Он замолчал, а потом посмотрел на Римму с несколько даже виноватым видом.

- Я, кажется, вчера того... ну, перехватил несколько через край? Не был ли я пьян, чего доброго? - прошептал он. - Видите ли, госпожа Иванова, как-то странно случилось, такая вот, раздери ее надвое, оказия!

"Господи! - подумала она почти с отчаянием. - И зачем он только все это мне говорит? - Она отвернулась в сторону. - Может, думает, что я инспектору доложу, а то попечителю?"

Вслух ответила:

- Что же делать, Митрофан Васильевич, это иногда с каждым может случиться. у нас тоже как-то, когда я еще маленькой был, с папенькой также получилось... Вы не переживайте.

Он поморщился, недоуменно вскинул на нее серые колючие глазки. Потом внезапно положил руку на сердце и заскрипел зубами.

- Что с Вами, Митрофан Васильевич, вам плохо? - не на шутку переполошилась Римма. - Случилось что?

- Сердце... Иногда, знаете ли, дает в некотором роде сбой...

- Да вы присядьте, Митрофан Васильевич, вот сюда, пожалуйста. А я живо за лекарем сбегаю. Где он у вас живет? Вы только сидите, не вставайте...

Он поморщился снова.

- Не надо, голубушка, - сказал покорно. - Я старый и сам свою хворь ох как распрекрасно знаю. Нет ли у вас на этот случай, - он поднял на нее снова свои серые глазки, - нет ли у вас, ну... Несколько рублей, что ли? В долг, разумеется, взаимнообразно? На медикаменты разные.

- Конечно же, Митрофан Васильевич. - Она торопливо щелкнула замочком сумочки. - Вот, маменька дала мне с собой в дорогу целых тридцать рублей. Сколько вам надо?

- Десяти, пожалуй, хватит, - немного подумав, ответил небрежно Коростылев, переставая стонать. - Я скоро отдам, вы, госпожа Иванова, не волнуйтесь. Вчера, надо правду сказать, весь из себя того... пропился, понимаете ли. А теперь вот... болит все!

Взяв деньги, он не положил их в карман, а зажал в кулаке, словно кто-то намеревался их у него отнять, вздохнул, а затем... Затем, как и вчера, равномерным неторопливым шагом пересек улицу, потревожив дремавших возле школы гусыню с гусятами, и отправился в трактир. "Неужели там продают и лекарства?" - удивилась про себя Римма.

Через час, когда она усадила человек двадцать с любопытством поглядывающих на нее детишек на лавки, скрипнула дверь, и на пороге вырос Коростылев. Он пошарил глазами по комнате, а затем, увидев маленького щупленького мальчишку, грозно приказал:

- Неподымка, разбойник с большой дороги! Подойди ко мне!

Коля Неподымка побледнел, встал и направился явно не похожей на разбойничью походкой к заведующему.

- Там, на окне, линейка, - распорядился Коростылев.

Остановившись перед ним и громко хлопнув носом, мальчишка замер.

- Ей-богу, господин учитель, - заскулил он, - ей-богу же говорю, что нет маманьки ничего боле... Совсем ничего боле нет у маманьки...

- Линейку! - рявкнул Коростылев. Неподымка затрясся от страха и, заранее всхлипывая, подал своему грозному наставнику толстую и увесистую сосновую линейку.

- Руки! - так же коротко распорядился Коростылев. - Руки, выродок!

Ровным счетом ничего не понимая, Римма смотрела, как покорно мальчишка положил на ее учительский стол крохотные, судорожно вздрагивающие руки, ладонями вверх. "Зачем это? - подумала она. - Для чего?"

И тут она увидела, как линейка своим широким ребром опустилась на ладони дико завизжавшего мальчишки - так кричит заяц, попавший в капкан.

- Будет знать твоя маманька, как учителя не уважать! - крикнул Коростылев. - Будет знать, жадюга чертова!

Линейка рассекала воздух снова и снова, опускаясь уже не на руки, а на плечи и спину мальчишки, который свалился прямо возле стола и уже не в силах был кричать, а только как-то странно и страшно попискивал. И только тут Римма пришла в себя.

- Стойте! - закричала она, сама не узнавая своего голоса. - Стойте, умоляю вас! Разве так можно? Это же дикость, настоящая дикость!

Линейка в руке Коростылева замерла в воздухе. Он сердито посмотрел на Римму, криво усмехнулся и вышел из класса.

Она с великим трудом успокоила мальчишку, усадила его на место. Было до боли жаль этого маленького несчастного человечка в старенькой холщовой рубашонке, из ладоней которого сочилась кровь.

- Пойдем отсюда, Коля, - сама едва удерживаясь от рыданий, она взяла мальчишку за локоть. - Пойдем, милый, со мной.

Неподымка послушно и торопливо встал.

- Где у вас в селе аптека? - спросила она. - Пойдем туда.

Старый немец-аптекарь равнодушно перебинтовал Колины ладони, предварительно щедро залив их коричневой настойкой йода.

- Только не пиши, малшик, - просил он. - Мой не любит, когда малшик пишит...

Вечером она снова увидела Коростылева, стоящего все под той же вывеской "Пей другую!" Он, конечно, опять "пил другую", и опять был крепко пьян, но все-таки не до такой степени, чтобы не узнать учительницу.

- А, - пробормотал он. - Госпожа Иванова, значит, тоже сюда пожаловали! Хе-хе! - Он прикрыл один глаз. - Как вам понравились эти самые... разбойники с большой дороги? - Он шумно высморкался, вытерев нос посредством нечистой своей ладони. - А вы того... Кто была ваша матушка? А ваша дочь уже того... замужем? - Он засмеялся, а потом вновь вдруг сделался до чрезвычайности серьезным, заложив правую руку за отворот сюртука. - А вы говорите, что были в Америке? Я - не был! И горжусь этим. Да! Мне и здесь хорошо.

До самой полуночи, всхлипывая, как обиженный трехлетний ребенок, проплакала она на своей кровати. Нет, не так, совсем не так представлялось ей начало учительской карьеры! Хотелось чего-то светлого и радостного, хотелось, чтобы как у поэта, - "сеять разумное, доброе, вечное". А пришлось вместо сеяния встречаться с пьяным заведующим, в грамотности которого она сама уже начала сомневаться.

Каждое утро начиналось одинаково. Митрофан Васильевич появлялся в школе злой, изрядно опухший от водки, с трясущимися руками, которые он то и дело вытирал о собственный галстук, и тот от многократного употребления лоснился и блестел, словно кусок шерстянки, которым дряют сапоги.

- На молитву! - командовал Коростылев хриплым голосом. - Небось, и в Бога никто из вас не верует? А ну-ка - "Отче наш!"

Все покорно вставали.

- Отче наш, иже еси на небеси... - равнодушными голосами причитали маленькие покорные богомольцы.

- Плохо, - закрывая один глаз, резюмировал Коростылев. - Очень плохо! В Бога, видать, совсем не верите, такие-сякие! Давайте-ка все вместе да сызнава!

- Отче наш, иже еси...

Детишки подтягивали вслед за ним недружными тонкими голосами, со страхом глядя на своего сурового наставника.

По воскресеньям с утра Митрофан Васильевич тоже являлся в школу. Минут через десять-пятнадцать вслед за ним начинали сюда же тянуться родители учеников - люди в основном бедные, измученные тяжким крестьянским трудом. Коростылев принимал "подарки".

- Что же это ты, старая, - брезгливо разворачивая замызганный серый платок с черной каймой, цедил он. - В прошлый раз от меня яичками отделалась и опять тех же самых проклятых яичек принесла? Твоего сопляка и разбойника Неподымку я, можно сказать, всей душой жажду человеком сделать! А ты мне за мою доброту - яички!?

- Боле ничего нету, господин наш, наш батюшка, благодетель наш, - униженно и часто кланяясь, причитала скороговоркой старая, со сморщенным, словно сжатая бумага, лицом, крестьянка - мать Коли Неподымки.

- Знаешь ты, благодетель наш, наш батюшка, какой год подряд астраханец дует... Такие уж ветры дули, что все повыдули, ничего не осталось в земле, ничего не уродило, благодетель ты...

- "Не уродило! Повыдуло!" - сердито прервал ее Коростылев. - Смотри, старая, а то как бы твоего разбойника эти самые астраханцы за порог школы к чертя собачьим не повыдули! Ступай, да принеси хоть сала, что ли. Или медку липового...

- Василич! Благодетель ты наш, радость ты наша, ведь летошний годок-то...

- Ну а ты, мать, с чем пожаловала? - уже поворачивался к другой посетительнице Митрофан Васильевич. - А-а, это уже по-нашему. А то знаешь, что-то в последнее время того...

Он деловито выдернул из десятилитровой бутылки служивший вместо пробки и обернутый для герметичности тряпицей кукурузный кочан и, небрежно плеснув в жестяную помятую кружку мутную струю принесенного самогона, тут же, на глазах ожидающих своей очереди дарительниц выпил.

Римме было неловко и стыдно смотреть на все это. А особенно, когда одна пожилая крестьянка вдруг направилась к ней и тоже протянула узелок:

- Возьми, доченька. Чем богаты - тем и рады, ты уж не погнушайся подношением-то...

Она даже не помнит толком, как отказывалась от свертка, что при этом говорила. Зато врезались ей в сознание с фотографической ясностью удивленные донельзя глаза крестьянки - та никак не могла взять в толк, почему это городская "учителка" вдруг не берет подношение, почему брезгует? А ведь на вид добрая...

Снова ночью Римма плакала. Господи, как же все это далеко было от ее мечтаний, как не вязалось с представлениями о высоком долге и святом призвании народного учителя! Вдоволь нарыдавшись, она уткнулась лицом в повлажневшую подушку и, лишь теперь успокоившись, поняла: нет, так дальше продолжаться не может! С этим надо кончать... Но как?

Поехать разве к инспектору, обо всем рассказать? Но разве не видела она сама, как только вчера Коростылев отправил со школьным сторожем полную телегу "подарков" этому самому инспектору? Нет, как видно, вправду говорят люди: плетью обуха не перешибить. Она же в данном случае и есть всего-навсего плеть, а обух - сложившиеся еще задолго до ее появления здесь традиции и обычаи, и сам Коростылев, и ни разу ею не виденный инспектор... и все им подобные.

Кончилось все довольно скоро, неожиданно и страшно. Поутру на следующий день, уйдя из школы, Митрофан Васильевич привычно пересек улицу и хлопнул старой дверью под вывеской "Пей другую!" Через час Римма увидела в окно: заведующий появился на улице. А вскоре в школьном коридоре раздался его хриплый голос. Коростылев пел:

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарский,
С нами век мне золотой!

При последних словах он обо что-то крепко споткнулся, раздался грохот от падения его тяжелого тела, по полу отчаянно затарахтело перевернутое пустое ведро. Римма вздрогнула и замолчала, лица ребятшек заметно побледнели. заведующий же, будучи пока еще невидимым, матерно выругался, откашлялся и, как ни в чем не бывало, заголосил снова:

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней под шалашами,
Днем - рубиться молодцами,
Вечером - горелку пить!

Она, конечно же, знала знаменитую песню гусарского поэта Дениса Давыдова. Но чтобы когда-нибудь ее исполняли таким мерзким, гнусным, противным голосом!.. Римма почувствовала, как к горлу подступает опасная тошнота. А заведующий в коридоре откашлялся и завыл пуще прежнего - на сей раз, правда, нечто совершенно нечленораздельное.

Потом он решительно распахнул дверь, пошатываясь, остановился на пороге. Каким-то нечеловеческим, бешеным взглядом окинул притихший класс.

- Н-н-н... е-е... подымка! - заревел он. - Поди сюда, разбойник, поговорить с тобой надо!

Мальчишка с неописуемым страхом в глазах подошел к заведующему школой. Тот криво усмехнулся, схватил Колю за волосы, и.. ударил прямо лицом об стену! Из разбитого носа и губ тотчас хлынула кровь, оставив на беленой стене темно-алые, почти черные пятна: все произошло так неожиданно, что мальчишка рухнул на пол, даже не успев вскрикнуть.

И тут-то оцепенение кончилось: Римма сорвалась с места и подбежала к Коростылеву. Ей никогда в жизни, даже в детстве, не приходилось драться. Но тут она с такой силой толкнула директора в грудь, что тот, покачнувшись, наверняка упал бы, не оказись рядом с ним массивной вешалки, послужившей ему подпоркой. Он тупо уставился на Римму и заулыбался:

- А, это вы... госпожа Иванова? В Америке, да? Ваша маменька... Она была... в Ливерпуле?

- Вот тебе, подлец, Ливерпуль! - И Римма с размаху ударила его ладонью по щеке. - Получи свою Америку!

А потом, глотая слезы, хлестала заведующего снова и снова, истошно крича:

- Это - от меня! А это - от моей маменьки! А это - от Канады! Это - от Африки с Азией!..

Когда Коростылев все-таки свалился на пол, она выбежала из класса, крикнув ребятишкам:

- Позовите фельдшера! Не ему, не этому... Мальчику позовите, Коле!

Прибежав домой, торопливо пошвыряла весь свой скарб в чемоданы. Наняла мужика с телегой до самого Ставрополя.

Вернувшись домой, с неделю прометалась в горячечном бреду: потрясение оказалось нешуточным.

Когда поправилась, отец рассказал ей под совершеннейшим секретом от матери: ему пришлось за дни ее болезни немало похлопотать, и даже, как он выразился, "позолотить одному подлецу лапу", дабы замять надвинувшийся было скандал.

Дело в том, что Коростылев, придя в себя, настроил начальству по линии народного просвещения на нее жалобу: дескать, госпожа учительница Иванова покинула свой пост без всякого на то дозволения, даже не получив причитающегося ей расчета. Бросила детей на произвол судьбы, явно недобросовестно отнеслась к работе на благородном и великом поприще несения света в широкие и добрые, но явно непросвещенные народные массы. Поскольку отец Риммы был лицом заметным, "дело" доложили самому губернатору. И тот, колебавшись, принял решение: к ответственности, учитывая крайнюю молодость, госпожу Иванову не привлекать, но запретить ей сроком на два года право преподавания во всех школах губернии.

Узнав об этой несправедливости, Римма была потрясена и, наверное, снова слегла бы в постель, но отец вдруг широко улыбнулся и, привлекая дочь к себе, тихо сказал:

- Ничего, дорогая моя, ничего. Знаешь, как сказано у одного поэта? "Не тот, кто на землю упал - побежден, не тот, кто разит - победитель!" Я лично считаю, что этот первый в жизни бой ты выиграла, хоть и с уроном. Как-никак, а дознание по случаю вашей схватки было назначено, и твоего Коростылева строго наказали. И не ясно, оставят ли в заведующих, могут выместить на улицу самой что ни на есть поганой метлой.

И он добродушно засмеялся.

Римма полными слез глазами посмотрела на отца и... тоже засмеялась.

САЗОНОВСКИЙ «КРЕСТНИК»

Станным порою образом переплетаются человеческие судьбы! Нет-нет, да и сходятся вдруг на одной житейской тропе люди, которые, казалось бы, никогда, ни при каких обстоятельствах не должны были встретиться!

... Когда 17 июля 1914 года царь Николай II объявил о всеобщей мобилизации в России, Алексей Учинский находился в городе на Неве, проводя отпуск у родственников, и никак не предполагал, что уже через несколько часов в жизни его произойдут перемены, о которых потом придется вспоминать с душевным содроганием. Что поделаешь? Солдаты нигде и никогда не принадлежали самим себе, причем военными, несмотря на их бравый и независимый вид, всегда распоряжались штатские лица.

В полночь 18 июля правительство Германии предъявило России ультимативное требование об отмене намеченной мобилизации. Это было грозной переменой в судьбах сразу многих миллионов ни в чем не повинных людей вообще, а прапорщика Учинского - в частности.

Вечером 19 июля германский посол в России граф Пурталес прибыл к министру иностранных дел Сазонову за ответом на ультиматум. Тот встретил его весьма холодно.

- Мы не являемся, граф, державой, - достаточно высокомерно заявил он, - которой можно диктовать, к тому же таким несдержанным тоном, свои условия. Россия не может согласиться с требованиями Германии.

В знак уважения к словам министра посол склонил голову.

- В таком случае, уважаемый Сергей Дмитриевич, - он нарочно назвал собеседника по имени, чтобы подчеркнуть свою чисто посредническую роль в данном разговоре, - в таком случае позвольте мне вручить вам ноту.

- Война? - спокойно, но почти шепотом спросил Сазонов.

И поскольку граф не ответил, взял протянутый им лист бумаги в руки, пробежал глазами.

- Что ж, - сказал хрипло, - по моему мнению, данная война не столь страшна для нас, русских, сколь для самих немцев. Более того, господин посол: я в этом абсолютно убежден...

Через несколько дней, присутствуя на проводах частей на открывшийся русско-германский фронт, Сазонов повторил эти, так понравившиеся ему самому слова. Вообще склонный к звонкой фразе, к речевому позерству, он и на сей раз придал своему голосу как можно более торжественности:

- Я абсолютно уверен в том, господа герои российские, что данная война не столь страшна для нас и нашего Отечества, сколь страшна она для наших врагов, коим непременно принесет смерть и гибель!

Потом, решившись обойти строй и с кем-нибудь из уезжающих на фронт поговорить лично, высокопоставленный министр направился к стоящему на правом фланге Учинскому. Скользнул по нему взглядом. Прапорщик вытянулся, четко представился.

- Учинский, Учинский... - пробормотал задумчиво министр. - Очень знакомая фамилия, а вот вспомнить не могу... Дворянин, конечно?

- Дворянин, ваше высокопревосходительство!

- Что же, прапорщик, желаю вам в боях отличий и всяческого благополучия. Думаю, что придет час, и вы, вспомнив о нашей сегодняшней встрече, с гордостью скажете себе: "Я сделал все, что советовал мне сделать для Отечества старик Сазонов!" Вот тогда и выполните мою просьбу: напишите мне об этом. Буду очень рад узнать о ваших ратных подвигах. Договорились?

- Почту за честь, ваше высокопревосходительство! - не скрывая удивления столь странной просьбе всесильного члена Государственного совета, отчеканил прапорщик.

Вокруг почтительно зааплодировали старшие офицеры: в те первые военные дни и даже недели проводы на фронт напоминал собой грандиозные театральные фарсы. Девиды в белых платицах, трогательно открывавших их худые ключицы, забрасывали солдат цветами, гремели оркестры, а ветераны русско-японской войны произносили, стоя прямо на паровозных тендерах, ура-патриотические речи. Страны Антанты отправили на фронт шесть с лишним миллионов человек.

Огромную человеческую массу живенько разбросали по армиям и в обстановке хаоса и неразберихи отправили две из них на Северо-Запад, четыре - на Юго-Запад, одну - на границу с Румынией, а еще одну - на прикрытие русской столицы со стороны Балтики. С великой помпой было объявлено о назначении Верховным Главнокомандующим Великого князя Николая Николаевича, а начальником Генерального штаба - генерала Н.Н. Янушкевича.

После всех этих чисто подготовительных мероприятий сильные мира сего начали кровавую игру в солдатики, повелев своим генералам выдать рядовым по семь патронов сутки на человека и по три снаряда на пушку. Сказали: "Сражайтесь!"

А сражаться было ох как нелегко! Мировая война упрямо не считалась с "объективными трудностями исторического развития" России, никак не принимая во внимание ее все увеличивавшиеся потери в личном составе и вооружении.

Все трудности, с которыми пришлось столкнуться на фронте совсем еще юному прапорщику, не стоит, пожалуй, перечислять и описывать. Восемьдесят третий Самурский Его Императорского Высочества Великого князя Владимира Александровича полк, куда определили на службу прапорщика Учинского, был одним из славных в русской армии, сформированным еще в далеком 1845 году из частей Подольского, Пражского, Житомирского полков и Грузинского линейного батальона.

За взятие Салты получил полк Георгиевское знамя уже через два года после своего рождения. А там отличия посыпались на него как из рога изобилия. Георгиевские трубы за подавление восстания в Дагестане, за штурм крепости Геок-Тепе, за военное отличие и примерное мужество при тридцатидневной обороне крепости Куба. Знаки на шапки за отличия на Кавказе в 1857-1859 годах, за Хивинский поход 1873 года...

Названный Самурским - по имени области в Южном Дагестане, - полк и комплектовался за счет жителей Северного Кавказа - Кубани, Ставрополя, Дона. Вот почему, честно говоря, Алексей очень не хотел уходить из этого полка, когда его неожиданно перевели в Оренбургский полк. Там он и сошелся очень коротко с Ивановым.

Сначала и ему снились по ночам награды и отличия, слава полководца и преклонение отдающих должное его воинским заслугам соотечественников.

Но пришлось ему для начала драпать вместе с полком в Галиции, да и, говоря по правде, проделывал он это в течение войны не один раз. Беда в том, что в русских частях израсходованные снарядные запасы почти не компенсировались. Зато военное министерство неустанно слало и слало на фронт листовки, которые должны были вдохновлять солдат на ратные подвиги, но на самом деле из-за высокого качества бумаги не годились даже на раскурку.

"Наша героическая непобедимая эскадра вступила в Черное море в бой с германскими крейсерами "Гебен" и "Бреслау". Первому из них нанесены непоправимые повреждения. Наше господство на море окончательно и необратимо!"

"После нашего сокрушительного контрудара на Кавказском фронте окружен и уничтожен десятый турецкий корпус, а все командование девятого сдалось в плен. Наше преимущество над турками окончательно и необратимо!"

Во второй половине августа на Юго-Западном фронте перешла в наступление восьмая русская армия под командованием А.А. Брусилова. Выиграв сражение на фронте общей протяженностью более чем в триста километров, русские взяли Львов и вынудили противника отойти за реку Сан, блокировали Перемышль. Там, под Перемышлем, Алексей Учинский вместо вселенской славы и преклонения соотечественников получил

немецкую пулю в грудь. Процесс лечения, однако, прошел благополучно, без тяжких последствий. Пуля засела на уровне четвертого ребра, и ее обладателю пришлось на неопределенное время оставить свои далеко идущие честолюбивые планы. В госпитале его буквально выходил Володя Иванов. У него Учинский, когда самочувствие стало получше, и попросил бумагу, перо и чернила.

- Домой собрался писать? - улыбнулся Иванов. - Это, брат, дело нужное.

- Да нет, - отмахнулся Учинский. - У меня, понимаешь ли, мыслишка тут одна появилась, пока я у тебя в госпитале свою дыру залечивал. Вспомнил, как обещал я в свое время письмецо черкнуть его высокопревосходительству господину Сазонову. Он мне даже визитную карточку тогда с адресом в руки сунул...

- Министру иностранных дел, что ли? - не поверил своим собственным ушам Иванов. - Полноте, братец, если ты в своем уме, то не следует этого делать. Что вас может вообще связывать с этим человеком?

- Обещание, - заупрямился Алексей. - Я же ему принародно, перед солдатским строем пообещал написать о своих подвигах и мыслях, кои родятся у меня на фронте. Он сам, между прочим, меня об этом просил.

И, несмотря на настойчивые просьбы друга, Учинский все-таки отослал письмо в северную столицу. Иванову того письма, правда, не показал, но сказал:

- Пойми, Володя, ведь я же ему не о своих несуществующих подвигах пишу! Просто долгом счел написать обо всем, что вижу. Об этих трех снарядах на орудие да семи патронах на винтовку в сутки. Все-таки Сергей Дмитриевич - большой человек, приближен к государю, с его мнением очень считаются в верхах. Думаю, что прочтет, - примет какие-то меры.

- Ну-ну, - хмыкнул сомнительно Иванов, глядя в голубые и наивные глаза друга-прапорщика. - Дай-то бог, чтобы твое письмо дошло, да чтобы принял его превосходительство те самые меры...

Так и осталось на всю жизнь для друзей загадкой, получил ли всесильный царский министр послание скромного прапорщика Алексея Учинского. Вполне вероятно, что получил. Подобное предположение базируется на том факте, что кое-какие "меры" через некоторое время были приняты. А именно: прапорщику Учинскому было категорически отказано в Георгии, к которому он был представлен за Перемышль. Вот почему получил он свой крестик на черно-оранжевой ленте значительно позже, одновременно с Ивановым, хотя фронтовой его стаж был значительно больше ивановского.

История эта бог весть какими путями, но получила огласку, и офицеры полка за спиной голубоглазого поручика стали называть его "Сазоновским крестником". При этом слово "крестник" нередко произносилось как "крестик", прямо напоминая о Георгиевском кресте, который не удалось получить.

Но, как говорится, нет худа без добра! И в данном случае оно, добро это самое, выразилось в том, что Учинский довольно быстро растерял весь тот обильный налет романтики и запас честолюбивых мечтаний, с которыми приехал на фронт. И даже гитара, на которой он так любил когда-то поигрывать душещипательные старинные романсы и которая всегда следовала за ним в полковом обозе, в один прекрасный день исчезла, что называется, в неизвестном никому направлении.

- Не до музыки сейчас, - хмуро ответил он поинтересовавшемуся "гитарным вопросом" Владимиру. - Скорее бы все это кончалось... До чертиков надоела вся эта музыка...

Таким был человек, прибывший в Ставрополь вместе с Ивановым и вскоре нанесший в дом друга визит.

Когда Владимир увидел его не в грязном, вечно измятом мундире, а в строгом костюме стального цвета с изящно сидящим на белоснежной сорочке галстуком-"бабочкой", он даже руками всплеснул от удивления.

- Алешка? Ты ли это? Нет, не ты. Это денди, лондонский денди! Как у Пушкина!

- Да, конечно. - Тот небрежно подал слуге трость и белые, как снег, перчатки. - Извини, но так надоела наша вечная неумытая казарменность и окопность, что прямо с раннего утра сегодня забежал в магазин куца Смирнова и приобрел все это... Прекрасно понимаю, что ничто из сего добра мне скоро не потребуется: отпуск кончится, с собой в полк весь гардероб не потянешь. Зато целых две недели буду похож на нормального человека!

Он подошел к зеркалу и, не скрывая удовольствия, посмотрел на свое отражение.

- Были ведь времена, которых мы не ценили, - вздохнул он. - Были и прошли... Все отняла у нас война. Все!

Новый товарищ Владимира произвел на его родителей впечатление весьма благоприятное. Елене Никаноровне он не только поцеловал при встрече руку, но даже ухитрился завернуть какой-то весьма запутанный комплимент, заставивший ее бросить в сторону мужа мимолетный, но не лишенный скрытой гордости взгляд. Михаил Павлович говорил с гостем о положении на фронтах и отметил про себя, что суждения молодого прапорщика не только вполне здравые, но и не лишенные смелой оригинальности, достойные иного генерала.

Знали старики Ивановы и то, что отец Учинского - достаточно крупный предприниматель, имеющий большой ежегодный доход от нескольких собственных мельниц и маслобоен.

Михаил Павлович посмотрел на Елену Никаноровну и, как бы между прочим, поинтересовался:

- А где же имеет быть сейчас наша баловница?

- Римма-то? Да ты что же это, батюшка, нешто забыл? Утро сейчас, в госпитале она.

- В каком госпитале? - вежливо поинтересовался гость, догадавшийся, о ком идет речь.

- Да вот, - засмеялся Владимир, - вдолбила себе сестренка в голову, что война без нее никак не обойдется, а нам с тобой без женской помощи немца не одолеть. Курсы сестер милосердия прошла, на фронт рвется. А сейчас в первой половине дня ходит в местный госпиталь, практикуется.

- Не дозволите, говорит, на фронт идти, - пожаловался глава семьи, - так сама убегу! Вот какой характер, какие нынче детки пошли, друг мой!

- Хоть бы вы, Алешенька, поговорили с ней, - попросила Елена Никаноровна, - объяснили бы, что к чему на той самой войне. Война, чай, не мать родная!

- Я, право же, - начал было Учинский, - не могу взять на себя подобного обязательства. Оно, полагаю, по праву старшего принадлежит вашему сыну...

Он не закончил фразы: дверь в залу распахнулась, из нее ударил в темноту комнаты яркий солнечный свет, такой, что все невольно зажмурились. И на этом свете, словно сама появившаяся из его лучей, выросла стройная фигурка Риммы.

- Володенька! - воскликнула девушка. - Знаешь, что я тебе сейчас скажу?..

И осеклась, увидев незнакомого человека. Владимир шагнул сестре навстречу.

- Позволь, - сказал он негромко, - представить тебе Алексея Васильевича Учинского, моего доброго друга и храброго воина.

Римма посмотрела на Учинского, неожиданно залившись краской. Хорошо, что в комнате был полумрак... Впрочем, девушка быстро справилась с собой, слегка присела и протянула Алексею руку. Представилась, почему-то назвав себя только по фамилии:

- Иванова. Очень приятно с вами познакомиться, господин Учинский. Я вчера столь много хорошего слышала от брата о вас...

ВДВОЕМ

Красив вечером Николаевский, самый главный проспект Ставрополя! В центре его раскинулся роскошный бульвар, деревья которого сажали еще казаки-хоперцы на пустом месте. Было время - вечерами здесь играл военный оркестр, и под его чарующие звуки неторопливо прогуливались влюбленные пары, вызывающие зависть людей постарше.

Сейчас, по случаю времени военного, оркестр больше не играет, количество пар резко поубавилось: война сумела притупить даже самые святые человеческие чувства. и только Римма с Алексеем, пройдя вниз по неширокой Вельяминовской улице, в одиночестве вышли на почти безлюдный проспект.

- Посмотрите, Алексей, - сказала девушка, показывая глазами в сторону огромного губернаторского особняка. - Правда же, он очень красиво смотрится? Говорят, здесь бывали такие балы... Ну да ладно! Видите, кариатиды поддерживают балкон? Я часто хожу здесь и каждый раз думаю: почему такой тяжелый балкон поддерживают женщины? Наверное, было бы куда красивее, окажись на их месте мужчины, атланты... Даже не красивее, а... справедливее, что ли...

- Ну, - засмеялся Учинский, - этого уж не скажите! Не знаю, как в Греции, а у нас в России - сплошная женская эмансипация! Женщины весь век боролись за свои права, и теперь, кажется, мы, мужчины, готовы взвалить на их плечи не только какие-то там балконы, а всю Россию! Вместе с войной и прочими язвами! Только женщины почему-то не берут у нас эту сизифову ношу, не желают принять ее на свои плечики.

- Почему не берут? - живо возразила Римма, схватив прапорщика за руку и останавливаясь. - Мы-то берем, а вот вы не отдаете... Вон как я прошусь на войну, а папенька и Володенька на своем стоят: не женское дело! Но когда Отечество наше в опасности, если все, кому по-настоящему дорога Россия, должны сейчас быть там, почему же я должна оставаться в стороне от всенародной беды? Вы слышали, кстати, Алексей, о корнете Александрове?

- Александров, корнет? - прапорщик задумался. - С такими фамилиями знаю многих, но чтобы корнет... Да ведь в нашей армии и звания такого давно нет...

- Ага! - торжествующе воскликнула Римма. - Давайте-ка мы присядем вот тут, на бульварной скамье. А про Надежду Дурову вы что-нибудь слышали?

- Это девица-кавалерист, что ли? - усмехнулся Учинский. - Как же не слышать о таком сумасбродстве? Вся Россия слышала, до последнего человека!

- А читали ее записки?

- Признаться, не довелось, - ответил прапорщик. - Не попадались как-то под руку. А что, разве интересно?

- Очень!

- Вы не сердитесь, Римма, но Ваш восторг перед сей особой мне не совсем понятен. И занималась она явно не своим делом, и... когда это все было-то? Много воды с тех пор утекло, много крови на разных других войнах пролило человечество. Стоит ли о ней вспоминать вообще?

- Стоит, конечно же, стоит! - Лицо девушки покрылось румянцем, хорошо заметным даже в вечерних сумерках, и он сделал Римму в мгновение ока не просто миловидной, а удивительно прекрасной. - А Дурова - и есть корнет Александров! Под таким именем она служила в полку, понимаете? Я про нее все, что только есть, прочитала! Хотите, расскажу?

- Расскажите, - он произнес это слово согласия, как-то даже не вдумываясь в его смысл. Просто хотелось как можно дольше побыть рядом с ней, в тиши этих сравнительно молодых широколистных каштанов.

- Расскажите, - снова повторил он. - И, если можно, подробнее...

... Вспоминая о днях своей молодости, Надежда Дурова уже на склоне лет писала: "Минувшее счастье, слава! Опасности! Жизнь, кипящая деятельность, прощайте!"

Женщина с удивительной биографией, в которой словно бы воплотились характеры все русских женщин, она была дочерью гусарского ротмистра и с детства получила почти мужское воспитание: стреляла, скакала по окрестным полям на своем быстроногом коне Алкиде, лазала по высоченным деревьям... Отец, отдавший дочь на воспитание под начало отставного гусара Астахова, смотрел на все эти проделки Надежды, как говорится, сквозь пальцы. Но в дело неожиданно вмешалась мать: подошло восемнадцатилетие, пора замужества. И ее без лишних разговоров выдали за местного заседателя Чернова. Но даже рождение сына Вани не сделало для нее реальной народной мудрость "Стерпится - слюбится". Не стерпелись супруги, не слюбились... И вернулась Надежда вскоре в родительский дом. А 17 сентября 1806 года, переодевшись в казацкое платье, она вскочила на коня и укатила в расквартированный в Гродно уланский полк. Там ее, благодаря мужскому платью, как сына дворянина, записали в состав первой казачьей сотни. И началась ее военная служба.

Отличившись особой храбростью в сражениях при Гутштадте и Фридрихсфельде, Надежда заслужила Георгиевский крест, была произведена в офицеры и переведена в Мариупольский гусарский полк.

Секрет столь необычного "гусара" стал известен императору Александру I. И он, несколько поколебавшись, принял совершенно беспрецедентное решение: разрешить девице Дуровой именоваться впредь до конца ее дней... мужчиной Александровым и дозволить ей обращаться с любыми просьбами непосредственно к императору.

До окончания своих дней Надежда упорно носила эту дарованную ей фамилию, ни разу не надев женского платья.

Но вот надвинулась, говоря словами бессмертного Пушкина, гроза восьмисот двенадцатого года. Корнет Александров и здесь проявил чудеса храбрости, сделавшие его имя известным всей стране. В августе он был контужен под Бородиным, отличился затем при блокаде Модлина и Гамбурга. В 1816 году в чине штаб-ротмистра Литовского уланского полка Александров вышел в отставку и жил то в Сарапуле, то в Елабуге, так и оставшись единственной в российской истории женщиной, удостоенной Георгиевского креста.

В 1836 году Александров напечатал в журнале "Современник" часть своих воспоминаний, вызвав подлинный восторг А.С. Пушкина, который всеми силами старался уговорить автора продолжить работу над "Записками". Рассказывают, что в один из своих приездов к Дуровой великий поэт поцеловал ей руку. Надежда Андреевна смутилась, покраснела:

- Ах, боже мой! Я так давно отвык от этого! - и резко отдернула руку.

Писательница А.Л. Панаева дала в своих трудах портрет Дуровой, когда той шел пятьдесят пятый год: "Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета... форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза и без того небольшие... Волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Манеры у нее были мужские: она села на диван... уперла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала".

Сама Надежда Андреевна (прожившая более восьмидесяти лет) писала: "В наше время женщина скучающая, утомленная бездействием, такая женщина более неуместна, чем когда-либо! Теперь... нужны русскому обществу женщины деятельные, трудящиеся, разумно сочувствующие великим событиям, которые происходят около них, и способные вложить свою лепту для того здания общественного блага и устройства, которое воздвигается общими усилиями"...

- Теперь вы понимаете, Алексей? - завершив свой восторженный рассказ, спросила Римма. - Почему же мы, современные женщины, не можем быть такими же деятельными, как Дурова? Неужели для нас - только семья, мужья да пеленки? Неужели только в этих мелочах и заключается счастье женщины, Алексей? Почему нас так жестоко лишают самого высокого счастья в жизни - счастья постоять за Отечество, за свой народ? Почему, я вас спрашиваю?!

Они бродили в тот вечер по бульвару довольно долго, дойдя до самого его конца, где расположился железнодорожный вокзал, большое здание из красного кирпича, напоминающее крепость с башнями по углам, - архитектура его была весьма бездарна. Здесь пахло паровозной гарью, смазочным маслом.

- Посмотрите, как неудобно, правда же? - сказала Римма. - Даже нет ни одного деревца вокруг. И сесть на лавку никак нельзя - вся она в копоти. А я люблю приходить сюда! Люблю смотреть на эти ближние и дальние огни - зеленые, красные, синие. Люблю дышать паровозным дымом. И мне почему-то всегда хочется уехать отсюда куда-то далеко-далеко... Я так люблю дорогу! Скажите, Алеша, - она тряхнула головой, отгоняя от себя нахлынувшее столь непрошенно лирическое настроение, - а как вы думаете: из-за чего началась война?

- Ну, это же достаточно хорошо известно! Пятнадцатого июня, если только мне не изменяет память, в боснийском Сараеве были убиты из револьвера престолонаследник Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга Софи фон Гогенберг. Это произошло у самого Латинского моста, и покушавшийся был сразу же схвачен. Было заявлено, что убийство - дело рук славян... И началась война.

- Я знаю об этом. - Римма свела пушистые дуги бровей к самой переносице. - Но разве это серьезно: воевать из-за смерти всего двух каких-то людей? Пусть даже хороших, замечательных! Зачем же гибнуть стольким людям? Разве это справедливо?

Учинский пожал плечами:

- Пожалуй, вы и в самом деле правы... Только поверьте, я не в состоянии ответить Вам на столь сложный вопрос.

- А другие? Они ответят?

- Кто "другие"?

- Другие люди. Есть ли такие, кто может мне ответить?

- Не знаю, право... Большевики, к примеру, в свое время утверждали, что русско-японская война была вызвана нашими чисто экономическими затруднениями. Насколько мне известно, они и сейчас придерживаются точно такого же мнения. Во всяком случае, у нас на фронте большевистские агитаторы прямо говорят об этом солдатам, утверждая, что государь ведет эту войну с целью отвлечь внимание народа от экономических проблем и заодно сбить уровень революционных выступлений внутри страны. Марксизм, как говорится...

- А вы, - она понизила голос до шепота, - вы читали Маркса, Алеша?

- Нет, не читал...

- А вот я хотела бы почитать из него хоть что-нибудь! Но у нас в гимназии, где я училась, даже имени этого человека никогда и никто не произносил. По-моему, там даже не знали, что он когда-то существовал. А вот в мужской гимназии, говорят, раскрыли целый кружок, в котором мальчишки изучали Маркса и его труды.

- Таких кружков большевики создали много, очень много. Особенно их количество растет сейчас. Они ведут в этих кружках антивоенную агитацию.

- И выступают против войны!?

- Да, против. Большевики считают, что нам нужно срочно заключить мир с противоборствующей стороной и заняться собственными проблемами. Наверное, как я предполагаю, эта их точка зрения никак не может не соответствовать марксизму в целом. Впрочем, о чем это мы разговорились... Главное в том, что вы, Римма, явно не марксистка: это учение зовет к миру, а вас почему-то так тянет на фронт, сражаться...

- Ах, боже ты мой, Алешенька! Вы так и не хотите ровно ничего понять! Я ведь стремлюсь туда вовсе не потому, что разделяю взгляды властей или взгляды большевиков на войну! О последних, признаться, я от вас впервые в жизни и услышала... Просто я должна быть вместе с народом, там, где моей стране грозит наибольшая опасность! Впрочем, - девушка вновь резко сменила тему разговора, - я еще вчера заметила, что вы -

ярый враг этой войны, в чем, конечно же, примыкаете к марксизму. А какой вы богослов, Алеша! Нет, вы даже представить себе не можете, какой у вас талант к богословию!

Они оба вспомнили вчерашнюю историю, когда в гости к Михаилу Павловичу наведалься его старинный друг и приятель - ставропольский протоиерей Никольский. Отец Симеон - так звали этого грузного, степенного священнослужителя в семье Ивановых - с удовольствием окинул взглядом обоих прапорщиков и даже пощупал орден на груди Владимира своими толстыми негнушимися перстами. А затем, испив протянутую ему вместительную рюмку анисовой, перекрестил рот и прочитал на память из Евангелия от Луки:

- "Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избежите прямо предо мною".

И совершенно неожиданно для себя услышал в ответ насмешливые слова Алексея, который тоже процитировал вслух:

- "Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет - напои его..." Так ведь, кажется, владыко?

- Воистину так, - не скрывая своего удовлетворения, отец Симеон окинул острым взглядом маленьких хитроватых глазок прапорщика: - Отрадно, что молодежь наша не чурается библейских текстов, кои учат ее и святости, и мудрости.

- Даже если тексты, как в нашем случае, порою попросту противоречат друг другу?

Михаил Павлович посмотрел на собеседников несколькими испуганными глазами: нашли, однако, тему для разговора, будьте вы неладны!

Но отец Симеон, благосклонно приняв еще рюмочку анисовой, уселся в кресло, показав рукой своему оппоненту на другое, напротив.

- Враг есть враг, молодой человек, - назидательно сказал протоиерей. - "Любите врагов наших", - повелевал Христос. Но это относил он токмо к личным врагам каждого отдельного верующего. А к врагам всей веры, всей страны надо и относиться по-иному. Надо внимательнее, сын мой, изучать святое писание!

- Но саму миссию отмщения писание всегда возлагает на Бога, а отнюдь не на человека! - живо возразил прапорщик. - Ведь там идет речь о суде божьем, но никак не человеческом. А о божьем суде говорится прямо, что "не пройдет род сей, как все сие совершится"!

- Перестаньте, господа, - вмешался, чувствуя нутром что-то недоброе, Михаил Павлович. - Прости его, отец Симеон! Молод еще, совсем отрок. А молодое вино всегда склонно к брожению. Прости!

- "Благодать вам и мир - от Бога, - улыбнулся протоиерей, снова цитируя писание, - от Бога..." Молодые не знают, что войны - тоже акт божественной воли, за грехи нам посылаемый.

- Тогда почему же, владыко, - смиренно поинтересовался Алексей, - гибнут в войнах не только великие и малые грешники, но и невинные младенцы, и даже, - он сделал испуганные глаза, - и даже... пастыри духовного звания? Вот Владимир знает: в нашем полку австрийцы так шарахнули из пушки прямо по священнику, что на кусочки разорвали этого поистине святого человека! Как понимать подобное, владыко?

- Погоды нонче стоят очень хорошие, - безнадежным голосом сказал Михаил Павлович. - Если так пойдет дальше, хлеба обещают быть на редкость дружными.

- Истину говоришь, Михаил, - с охотой оставив столь щекотливую тему разговора, подтвердил протоиерей. - Давай же не будем мы, старики, мешать молодым предаваться без нас всем радостям жизни. Пойдем к тебе в кабинет, безотлагательное дело к тебе имею. Да прихвати с собой еще бутылочку...

Оставшись одни, Владимир, Алексей и Римма неудержимо расхохотались. Тогда, правда, девушка не решилась задать прапорщику вопрос, который, однако, так и вертелся на языке и который сейчас вырвался сам собой:

- Откуда вы так хорошо знаете все эти библейские тексты, Алеша? Мне закон божий никогда не давался.

Учинский, кажется, немного замялся.

- Чего уж скрывать, - сказал. - Моя матушка очень хотела видеть меня священником, с самого детства дала мне для этого подходящее воспитание. А я вот... впрочем, сами видите, кем я стал на самом деле!

Небо над ними было удивительно синим и ясным, без единого облачка. Сверкали чистые, словно вымытые, звезды.

И им очень не хотелось расставаться.

ПРОЩАНИЕ

Приходит час - каждый из нас переступает порог родного дома. Вспомните, как вздрагивает при этом сердце, как неудержимо хочется оглянуться назад, какой бы легкой, какой бы радостной ни была распростершаяся перед нами дорога.

До свидания, милый, добрый, старый дом!

Но вдруг пронзает сознание простая мысль: а состоится ли оно, обещанное нами свидание?

И тогда впервые произносишь слова, которые слышал и раньше, но весь смысл которых воспринимаешь впервые:

- Прощай, старый дом!..

Пожалуй, именно такие или им подобные чувства обуревали Владимира тем сильнее, чем ближе становился последний день предоставленного ему отпуска. К тому же в газетах как-то сразу исчезли победные ноты, все чаще повторялись стереотипные фразы о том, что "наши войска вынуждены были с целью выравнивания линии фронта отойти на заранее подготовленные укрепленные позиции".

Как человек военный, да к тому же понюхавший пороху, Владимир прекрасно понимал, что скрывается за этими словами.

В отличие от своего лучшего друга, Алексей, казалось, нисколько не переживает по поводу предстоящего возвращения в действующую армию. Все свободное время - а его было в избытке - он проводил с Риммой. И наблюдательная Елена Никаноровна, заметив это, сделала достаточно далеко идущие выводы, которые, однако, не торопилась открывать мужу. Но для себя решила: Алеша будет для ее девочки очень хорошей партией! На такого можно положиться...

По вечерам, когда все семейство собиралось в гостиной, разговоры, вполне естественно, шли о войне и только о войне.

- Будь я помоложе, - вздохнул как-то Михаил Павлович, - ей-богу, тряхнул бы тож стариной, поехал бы с мальчишками на фронт. В такое время грех оставаться в стороне. Годы не те, однако.

Сказал - и тотчас осекся. К нему, сидевшему на диване, немедленно бросилась дочь. Римма упала перед ним на колени:

- Папенька! Вот вы и сами говорите, что грех! Так неужто ваше сердце позволит вам удерживать меня здесь и доле? Отпустите меня с Володенькой, папенька!

- Ну-ну, - сконфузился не на шутку Михаил Павлович. - Не для тебя это сказано было, не тебе к словам цепляться! Только голосить-то хватит, хватит... Тоже мне, Жанна д'Арк отыскалась!

Разошлись в тот вечер из гостиной намного раньше обычного. Против обыкновения, глава семейства отправился не в столовую, чтобы перехватить что-либо перед отходом ко сну, а к себе в кабинет. Супруга было направилась за ним, но он отвел ее рукой в сторону и неожиданно твердым, хотя и тихим голосом сказал:

- Ты, мать, ступай к себе. Мне одному побыть надобно.

Минут через тридцать-сорок он пригласил к себе сына Владимира. Тот вошел в кабинет и не узнал отца. Сгорбившись, словно совсем ветхий старик, он сидел в кресле. На столике перед ним стоял графинчик анисовой, но видно было, что ни единого грамма из него Михаил Павлович не отпил.

- Садись, сынок, - сказал он тихо и даже отчасти торжественно. - Настал час нам с тобой посоветоваться и определить судьбу горячо любимой нами твоей сестры, а моей единственной дочери... Что думаешь по поводу ее просьбы? Девичья блажь это иль порыв патриота государства Российского, коему честно служил и я, и столь же честно, судя по ордену, служишь и ты?

Он потер пальцами виски, взъерошил седые редеющие волосы.

- Коли блажь, о которой я говорил тебе и о которой постоянно сам думал, надо нам ее отместить нещадно, выжечь из сердца девчонки без всякой жалости. Начиталась романов, повесила у себя в спальне портрет этой чертовой девицы-мужика в гусарской форме... Пройдет ли это, как думаешь, Владимир? Или это - от самого сердца?

Он с надеждой смотрел на сына. Тот молча пожал плечами.

Михаил Павлович сам нарушил тягостную тишину:

- Коли блажь - наше с тобой поведение верно. Но коли глушим мы, сами того не ведая, честный порыв душевный, желание принять участие в святом деле защиты Отечества, не простит тогда Господь ни тебе, ни, тем паче, мне подобного пред Его Святым престолом прегрешения...

Он снова задумался, на сей раз, как видно, не ожидая ответа от сына. Но тот вдруг негромко проронил:

- Не держи ее больше, отец. Таких, как она, ни запретами, ни цепями возле себя не удержишь...

Утром, когда все собрались к кофею, Михаил Павлович впервые за много лет припоздал.

Наконец дверь распахнулась, и в залу вошел Михаил Павлович, при виде которого супруга лишь тихо ахнула: на нем был старый, давно вылинявший офицерский мундир с двумя старыми медалями. Хозяин дома молча уселся на свое место и, только закончив процедуру питья, поднялся, прошел на середину комнаты.

- Два дня осталось до отъезда вашего из родительского дома, дорогие дети мои, - сказал он дрогнувшим старческим голосом. - Не в силах наших, родительских, держать вас, да и, если бы удержали, сделали бы большую глупость, немалый грех приняв на свою душу вместе с Еленой Никаноровной. Полетите вы из родительского гнезда, а мы с матерью останемся одни, совсем одни... Что же тут удивительного: таков удел старых людей - оставаться на закате дней своих в одиночестве, ждать детей в каждую из оставшихся минут жизни да молиться за них. Подойди ко мне, дочь моя!

Римма подошла к нему.

- Принесите сюда икону, - попросил он, не оборачиваясь. - Ту самую, фамильную... Благослови дочь свою на труды ратные во имя Отечества, Елена Никаноровна, первой. Ты - мать, тебе и первое право благословения. Говори свое слово!

Побледневшая хозяйка поднялась со стула и, не поддержи ее оказавшийся рядом Учинский, наверное, упала бы.

- Не плачь, мать, - обратился старший Иванов к жене. - Пробил час, надо снизойти к столь пылким просьбам нашей дочери. Я решил отпустить Римму с мальчиками.

- Папенька! - девушка схватила руку отца и начала в исступлении целовать. - Мама! Маменька!.. Ну чего это вы, право? Я же вернусь, со мной же ничего не случится! Я прошу вас, умоляю... Маменька!

Она упала перед Еленой Никаноровной на колени, уткнувшись лицом в темное материнское платье.

Внесли икону в старинном серебряном окладе. Завидев ее в руках лакея Антипа, бедная женщина бросилась в сторону.

- Нет! - закричала она. - Нет! Ни за что на свете... Только не это... не это!

- Благослови, мать, первой, - Михаил Павлович принял икону и, подойдя к жене, решительно протянул ее. - Выполни свой долг, мать, как то положено...

Она вздрогнула, побледнев еще больше. И протянула к иконе трясущиеся руки, боясь взять ее, словно она была раскаленным добела металлом.

Римму уже стояла перед ней на коленях, склонив голову.

- Бла... бла... благословляю, - только и смогла вымолвить Елена Никаноровна, кое-как перекрестив дочь. Та поцеловала икону и перевела взгляд на отца.

- Благословляю тебя на труд ратный, - твердым голосом произнес он. - Ты совсем молода, но помни всегда об том, что честь и должно каждому человеку беречь смолоду. Да сохранит тебя Господь.

И начались сборы! Заплаканная хозяйка поставила с ног на голову буквально весь дом, гулом загудевший до ночи.

В день отъезда к Ивановым снова пожаловал протоиерей Никольский. Узнав о том, что желание Риммы решено удовлетворить, он одобрительно закивал большой головой:

- Угодное Богу дело, угодное! Ворогов наших щадить не надобно. Не зря в Евангелии говорится: "И предал господь хананеев... в руки их, и побили они в Везеке десять тысяч человек".

- А как же с другими поучениями, владыко? - вновь, как и в прошлый раз, не удержался и съязвил Алексей. - "Любите врагов наших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас..." Хотя, впрочем, мы, судя по всему, не намерены благословлять "гонящих нас".

- И верно, - закивал головой Никольский. - Ибо немцы ноне хуже намного всяких хананеев....

Как и прежде, старики удалились, оставив молодежь одну. Неожиданно Учинский потянулся к висящей на стене гитаре. И, покраснев немного под вопросительно-ироническим взглядом друга, сказал:

- Давай возьмем и это, Володя. Препятствие, ты же знаешь, затерялась.

- Знаю, - как ни в чем не бывало ответил Владимир. - Но только допрежь позволю поставить тебе одно условие.

- Какое условие?

- Сыграй что-нибудь, а?

- Правда, правда! - тотчас присоединилась к брату девушка. - Я и не знала, что вы, Алеша, играете на гитаре.

- Играет, да еще как! - воскликнул Владимир, вызвав решительные возражения товарища. Но в конце концов тот все же взял в руки гитару и, перебирая струны, негромко запел:

Ночь светла, над рекой
Ярко светит луна,
И блестит под луной
Голубая волна...

Романс на всех произвел впечатление. Даже вошедшая в залу по какому-то неотложному делу Елена Никаноровна остановилась, замерев на пороге. А потом, подойдя к Учинскому, прерывающимся от волнения голосом попросила:

- Вас, Алеша, умоляю... На Володеньку надежды мало, а вы - человек обстоятельный. Умоляю. - Она вытащила из рукава платья влажный латок и приложила его к глазам. - Поберегите Римму, Алеша! Одна дочь у меня...

- Я буду беречь, - пообещал Учинский. - Обещаю вам, Елена Никаноровна... Клянусь!

И вот подана карета. Антип, единственный лакей Ивановых, исполняющий по совместительству и обязанности кучера, прыгнул на козлы. Уложили чемоданы, еще раз все проверили. Девушка в волнении повернулась к порогу:

- Прощай, мой дом! Прощай, мое детство! Я скоро вернусь, мама!

Ей очень хотелось на фронт. Но все равно: видя неподдельное горе матери, девушка переживала предстоящий отъезд. По дороге на вокзал она не выпускала из своей руки руку матери, а в последний момент, упав ей на грудь, горько расплакалась.

- Ну, ну, - повторял без всякого проку отец. - Вы это... бабы - они и есть бабы... Хватит мокриц-то разводить... Ну, ну же! - а потом и он отвернулся, сам вытер рукавом мундира предательски повлажневшие глаза. - Ветер тут, право, какой-то злой... Ну, дочка! Давай целоваться! Да и усаживаться пора... Какой вагон у вас? Вот он, значит, пришло и ваше время... Вы только нас, стариков, не забывайте... письмишки шлите, да... Вот уже всего одна минута осталась... Мать, дай же и мне Володьку обнять! Ну, ну...

Поезд ушел. Елену Никаноровну привезли домой почти без чувств.

ДОРОГА К СЛАВЕ

Много лет спустя после описываемых событий мне, автору этой документальной повести, удалось разыскать бывшего прапорщика русской армии Алексея Учинского. Было это, признаюсь, делом далеко не легким. Но после публикаций в газетах "Известия" и "Труд" заметок о судьбе Риммы Ивановой Учинский вдруг отозвался сам, письмом в редакцию "Труда". Оно было переслано редакцией мне.

В удачу, что называется, было просто трудно поверить! Учинский, тот самый Учинский, имя которого в течение нескольких последних лет я знал только по документам, оказывается, до сих пор жив! Немедленно - в дорогу!

... В тихом Новгороде я был гостем старика.

- Так что же привело вас ко мне?

Я рассказал ему, что несколько последних лет занимаюсь изучением судьбы Риммы Ивановой. Он молча пожевал стариковскими бескровными губами, посмотрел в окно. А потом позвал меня:

- Да, Римма... Вспомнили, значит, и о ней... Я читал как-то в "Труде" вашу заметку об этом... Не думал, что до меня доберетесь, но уж коли пришлось... Римма, Римма! А ведь вы знаете, я часто о ней вспоминаю. И почему-то не нахожу в себе сил представить ее старухой, моей ровесницей хотя бы... Вы слышали: у умерших и погибших в расцвете лет есть по сравнению с нами, стариками, огромное преимущество - они остаются в людской памяти вечно молодыми. Риммы видится мне молодой и красивой, каковой она, о чем могу с точностью судить с высоты прожитых лет, и была на самом деле... Как выглядела, спрашиваете? Ну, представьте себе девушку несколько выше среднего роста, с открытым взглядом больших зеленоватых глаз... Я не могу описать их, но могу сказать, что других таких за отпущенную мне жизнь больше не видел. Тут не грех признаться: я и вправду, наверное, любил ее... После гибели Риммы долго приглядывался к другим девушкам: подходила пора, по тогдашним нашим понятиям, жениться, семейный очаг разводить. Очень на том настаивали мать и отец мои. Так и не смог, скоротал век холостяком, не оставил после себя никакого продолжения. Все время сопоставлял: ну, хорошо, вот передо мной красивая и молодая женщина, а дальше что? Вольно или невольно я каждый раз сравнивал очередную свою знакомую с Риммой...

В комнате Алексея Васильевича я вижу на стенах два больших портрета. На одном из них - знаменитая кавалерист-девица, на втором - Римма Иванова.

- Друг написал, - поясняет он, перехватив мой взгляд. - Это уже в Отечественную... Как-то заговорил с ним о Дуровой, потом рассказал об Ивановой, как мог, конечно.

Отвоевали, года два-три прошло, вдруг он прикатил ко мне в гости и подарил вот эти два портрета. Друга того уже нет. Фамилия его Бойченко...

Молчу, стараясь не перебивать собеседника. Знаю по опыту, что в подобных случаях лучший вариант до всего докопаться - не лезть со своими вопросами, со своим интересом. И Алексей Васильевич продолжает:

- У нее были рыжеватые волосы, такие, каких я больше в жизни своей не видел ни у одной женщины... Хотите, лучше прогуляемся по Новгороду?

- Прогуляемся.

И мы идем по этому не слишком большому, но все равно Великому городу, заходим в кремль. Останавливаемся у памятника тысячелетию России, незыблемой, непокоренной... Вот он, полный внутренней экспрессии, скрытой силы, подлинного могущества образ Петра Великого. У его ног коленопреклоненный швед старается защитить разорванное снарядами осколками шведское знамя. А Гений с распростертыми огромными крыльями обнимает русского императора правой рукой, простирая вперед левую. Говорят, фигура эта вызвала в свое время немало всевозможных сомнений и споров, многие находили ее неуместной рядом с обликом Петра. Но мне она всегда казалась вполне оправданной, логически обоснованной.

- Памятник старый, - словно уловив мои мысли, говорит Алексей Васильевич. - Открыт, кажется, в 1862 году. Значит, еще в прошлом веке, до наших беспокойных времен. Первая мировая война была уже много лет после! Но мне почему-то кажется: создавайся подобный памятник сейчас, на нем непременно нашлось бы место и женщине. Пусть не конкретно Ивановой, но женщине России, русской женщине вообще! Сколько женщин проявили себя подлинными героинями на поле брани, но таких, как Римма, - все-таки единицы. Говорить о ее мужестве и храбрости можно, наверное, бесконечно. Помню, как однажды в Карпатах австрийцы засели на небольшой высотке, мы попытались ее взять, но безуспешно. Пришлось откатиться назад, на исходные позиции. А на пути нашем осталось до десятка раненых. Причем, представьте себе такую ситуацию: каждый раненый с высотки виден - словно на ладони, а весь скат простреливается оттуда без всякого труда. Как ни тяжело было, но командир полка принял решение: оставить их до наступления полной темноты без всякой помощи: будь что будет! Поползи санитары к раненым, это привело бы только к новым неоправданным жертвам... И вдруг через бруствер перемахнула Римма!

"Назад! - закричал полковник. - Немедленно назад!"

Она или сделала вид, что не слышит, или в самом деле не слышала голоса командира. Я и сам замечал: в грохоте боя слух человеческий резко притупляется. Так вот: Римма поползла к ближайшему прапорщику, который лежал метрах в двадцати от бруствера. австрийцы, конечно же, сразу заметили девушку и открыли по ней, что называется, ураганный огонь... А потом - раз! - и стихли. Римма лежит без движения! Неужели, думаем, убили? Проходит мгновение-другое, и она снова ползет вперед, к прапорщику. Усилится огонь - она снова укроется за едва заметными выступами. И все-таки вытасила того прапорщика. Правда, по дороге назад в него угодила еще одна пуля. Но все же выжил, в госпитале пришлось проваляться месяцев пять, никак не меньше. Фамилия его, помнится, Гаврилов, а вот имени не помню. Родом из Полтавы, где я встречал его в двадцать первом году. Вспоминал он: "Не могу забыть тот холмик. Чуть не каждую ночь ползет ко мне та девушка, которой я обязан жизнью. И я снова переживаю чувства, которые переживал тогда, лежа не земле с раздробленной ногой. Смотрю на нее и думаю: куда же это ты, милая, куда? Не видишь разве, что и мне не поможешь, и своей молодой жизни лишишься? Когда подползла, говорю ей: оставь, сестричка, нет смысла меня тащить. А она на мои слова никакого внимания. Словом, поползли. Нелегким оказался тот путь в двадцать пять шагов! Она все время старалась тащить меня так, чтобы своим телом закрывать от засевших на холме австрийцев. А я, наоборот, стремился

прикрыть ее. Хорошо, что хоть это удалось: пуля, которая залетела мне в предплечье, могла достаться Ивановой... Нет, сколько буду жить, столько буду помнить эту девушку!"

- От себя добавлю, - рассказывает далее Учинский, - она была у нас в полку всеобщей любимицей. Уж до чего жестоким, я бы даже сказал, бесчеловечным офицером был командир полка Стефанович, но и тот не мог не ответить на ее улыбку... Она как бы излучала свет, который никак не мог попасть куда-то в сторону, а только прямоком в душу человеку! И он, свет этот, высвечивал в той душе все уголки, все закоулки, в которых таилось и что-то очень хорошее, и нечто очень дурное... Расскажу одну историю. Был у нас в полку начальник снабжения, поручик Келарский. В то время каждый из тыловиков воровал, что называется, напропалую: война все, дескать, спишет! Так вот, оный Келарский был как-то уличен в крупном воровстве. Предназначенное для солдатского котла мясо, по-нашему убоину, он продавал одному корчмарю за золото, а в солдатские желудки этой самой убоины попадало в два с лишним раза меньше, чем было положено по нормам военного времени. Уж не помню в деталях, как это произошло, а только Стефанович, узнав об этой истории, пришел в ярость неопишемую. И тут же распорядился: под трибунал мерзавца, с самыми нелестными рекомендациями от начальства. Так этот самый Келарский прибежал к Римме и в ногах у нее валялся: вас, мол, Римма Михайловна, полковник очень любит, попросите его за меня, старик вас послушает. Ведь, говорил он, трибунал разбираться не станет, на одном отыграется, хотя воруют все, одного живо к стенке отправят, чтобы солдатикам рты заткнуть... она посмотрела на него и сказала: "Нет, господин поручик! Я не могу и не имею права оправдывать подлость, которую вы совершили по отношению к солдатам. Не могу по тому, что подлость совершена вами сознательно и в столь трудный час для Отечества, когда мы все должны жить одними мыслями: что еще можно сделать для нашего многострадального народа, чем помочь ему в дни страшных испытаний? Я не хочу и не буду просить полковника о вашем прощении, потому что убеждена: та мера, о которой вы сейчас изволили говорить, вами вполне заслужена". Расстреляли того поручика.

Эта моя встреча с Учинским произошла летом 1981 года. О Римме он говорил много и охотно. Припомнил и поездку из Ставрополя в действующую армию.

- Меня Римма тогда несколько даже забавляла. Она была весела и оживленна, много шутила и смеялась любой, даже не слишком удачной моей шутке, словно ехала не на фронт, а на воскресную прогулку. Долгое время дорога вызывала у нее интерес - мы ведь катили почти шесть суток. Она выглядывала в окошко, и все, что ни увидит, приводило ее в восторг. А после Киева, когда поехали прямоком на запад, стали попадаться все чаще окрестности, затронутые войной. На каждой остановке Римма выбегала из вагона - раздавать милостыню многочисленным в ту пору нищим, сидящим вдоль стен вокзалов, что твои ласточки на телеграфных проводах... Потом возмущалась: зачем люди воюют, кто придумал войны вообще? Помню, я много играл в поезде на гитаре, а Римма пела - и в дуэте со мной и одна. Голос у нее был не слишком сильный, но красивый. Особенно нравился ей "Пловец" Языкова. Вы, конечно же, помните?

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно;
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!..

- Между прочим, - продолжал Алексей Васильевич, - в Киеве у нас была остановка, пересаживались с поезда на поезд. Провели в городе почти сутки. Побывали в Киево-Печорской лавре, осмотрели чуть ли не все шесть ее монастырей - Главный, Больничный, Богородицы, Китаевскую пустынь с церковью Святой Троицы... В галереи тоже спустились, посмотрели нетленные мощи разных схимников и прочих зело угодных господу людей. А в знаменитом Софиевском соборе Римму привели буквально в восторг старинные фрески. Особенно - образ Богоматери и Тайная вечеря... А когда нам сказали, что здесь, в монастыре, хранятся редчайшие святыни православной Церкви - части крови, ризы и креста Господня, она долго смеялась: надо же до чего додуматься! Вообще, насколько я мог заметить, Римма не была сколько-нибудь религиозно настроенным человеком... Там же, в городе, купили "Киевский вестник", из которого узнали о том, что наши дела на фронте, мягко говоря, далеки от блеска. Мне кажется, что именно тогда Римма и поняла впервые, что война - это не игра в солдатики, а нечто страшное и несправедливое. Во всяком случае, когда мы выехали из Киева, она уже больше не смеялась, по поводу и без повода, была задумчива, даже, пожалуй, грустна. На маленькой станции - не помню ее названия, - мы сошли. Были приятно удивлены, что нас там поджидал автомобиль: видимо, несмотря ни на что, нашу телеграмму о прибытии в полк все-таки получили. Конечно, автомобиль этот оказался как нельзя кстати: дело, ко всему прочему, происходило поздно вечером. Темень, хоть глаз коли!

- Ну, - сказал Владимир, усаживаясь, - вперед, к славе!

И мы покатали прямой дорогой в полк.

«РАБОТА ТЯЖЕЛАЯ И ОПАСНАЯ...»

Командир полка Стефанович встретил Римму не совсем приветливо:

- Сестры милосердия нам, конечно, очень нужны. Но хотел бы предупредить вас, что работа эта тяжелая и опасная. Надеюсь, знали, куда ехали? - он подозрительно покосился на стоящего рядом Владимира. - Или же за этим вот прапорщиком потащились, славы воинской захотелось? А может, - он хмуро взглянул теперь уже на Учинского, - может... какая другая причина привела?

- Господин полковник, - Римма, кажется, нисколько не обиделась, - поверьте, что я не ищу здесь славы, о которой вы изволите говорить. Не у меня иной причины приезда сюда, как только горячее желание делом доказать стремление быть полезной Отечеству.

- Ладно. - Стефанович повернулся к своему адъютанту. - Скажите начальнику штаба, чтобы согласовал возможность призыва данной особы в действующую армию с начальством. Зачислить сестрой милосердия с прикомандированием к госпиталю.

- Мне бы хотелось не в госпиталь, господин полковник, а в один из батальонов, если, конечно, это возможно, - попробовала было вставить свое слово Римма.

- К полевому госпиталю! - сердито повторил полковник. - Между прочим, прошу вас иметь в виду, что в армии приказы вышестоящего начальника не подлежат дебатированию, хотя б даже на предмет их улучшения. Пойдете туда, куда вас направляют, в госпитале не хватает сестер. Да и, по чести говоря, родители ваши в Ставрополе будут почивать ночами спокойнее, зная, что вы находитесь на глазах у брата. Поселяйтесь вместе с прапорщиком Ивановым, пусть скажет, что я велел подыскать вам пару подходящих комнат в селе. А завтра с утра и приступайте к службе...

Римму в госпитале встретили доброжелательно. А его начальник искренне обрадовался: каждая сестра - огромная ценность! Дело в том, что в линейных батальонах за последний месяц погибло около десятка сестер милосердия, и Стефанович, нимало не задумываясь, снял несколько сестер из госпиталя и направил их на передовую.

Размещенный в палатках с двойными брезентовыми стенками, полевой госпиталь чем-то неуволимо напоминал Римме огромный цыганский табор, виденный ею как-то под

Ставрополем. Так же чадили над палатками, как под шатрами, колеблющиеся дымы, ржали лошади, звучали беспорядочные голоса.

На фронте в этот момент, судя по всему, было временное затишье. И потому в палатках - относительно просторно, хотя раненые и лежали просто на полу, на соломе, поверх которой были набросаны их же собственные шинели.

Вернувшись в полк, Владимир заметил целый ряд весьма существенных перемен. Полк за время его отсутствия сдал трехлинейные громоздкие винтовки образцы 1891 года на склады, получив взамен австрийские трофейные, к которым патронов было пока что достаточно: не так давно удалось взять склад боеприпасов на Каменеце-Подольском направлении. Появились и австрийские пулеметы "шварцлозе", которые оказались весьма недурным пополнением к имеющимся в батальонах "максимам".

- Вот видишь, - несколько поехидничал Владимир над другом, вспомнив историю с письмом к министру иностранных дел. - Твои молитвы, как видно, дошли до самого неба! Теперь на сутки солдату выдают уже не семь патронов, а, наверное, целых двадцать семь!

Война, носившая здесь, в Карпатах, позиционный характер, в конце четырнадцатого - начале пятнадцатого годов шла с переменным успехом. Несколько дней назад на участке Самурского полка под звонкую дробь барабанов во главе с офицерами к русским перешли три роты одного из чешских полков, не пожелавших умирать за своего престарелого монарха Франца Иосифа.

Стефанович долго не мог добиться в дивизии, что делать со столь неожиданно для него оказавшимися в плену тремястами чехами. Пока добился - солдаты из перешедших на русскую сторону рот два с лишним дня болтались по расположению полка, покуривая с русскими братьями, поругивая с ними войну и попивая потихонечку покупаемый в селах картофельный самогон.

Все это полковнику очень не нравилось - подобное отношение ко вчерашним врагам со стороны солдатской массы казалось ему ничего хорошего не предвещающим.

- Солдат должен ненавидеть врага! - возмущался он. - А эти друг дружку только что не целуют, словно институтки, которые не виделись целую неделю!

Однако подобная идиллия продолжалась недолго: уже на следующее утро после того, как Римма приступила к исполнению своих обязанностей в госпитале, со стороны противника послышались артиллерийские раскаты. Было ясно: на смену сдавшимся чехам пришли немецкие части, возможно, даже из тыла, свежие. Поэтому готовиться надо к боям, готовиться всерьез, рассчитывая не на ставшую давно привычной перестрелку "абы-абы", а на сражение самое что ни на есть настоящее.

В Михайловке - крохотном сельце, на окраине которого стоял госпиталь, а в домах молдаван расквартированы работники этого госпиталя, приготовились к приему раненых. Алексей, получивший назначение в батальон, уехал туда еще накануне, а Римма и Владимир поместились в одной из изб, ближайших к госпиталю.

Раненые начали поступать часа через два после начала канонады. Было их много, и Римма поначалу даже растерялась: что делать, как быть? Но потом посмотрела на брата и невольно поразились происшедшей в нем перемене. Куда девался смех в глазах, где та несерьезность, которую постоянно ставила ему в вину матушка?

Заняв место у операционного стола, он начал обслуживать раненых. Это было нелегкое, очень нелегкое дело. Особенно если учесть, что операции приходилось делать без всякого наркоза, что называется, по живому телу. Люди истошно кричали, стоны и боль до краев заполнили палатку, в которой находилась эта страшная "полевая операционная". Римму буквально поразил один молоденький солдатик, лет восемнадцати, никак не больше. У него были раздроблены обе ноги, и их нужно было ампутировать. Владимир только ампутировал одну, наложив на кровоточащую культю турникет, как солдат задергался, страшно захрипел.

- Унесите этого! - повернулся Владимир к санитарам. - Скорее подавайте следующего!

"Почему унести? - подумалось ей. - Ведь операция еще не закончена, надо обработать вторую ногу?.."

- Быстрее! - торопил Владимир. - Убирайте его со стола. Несите же, бога ради, следующего!

И только тут Римма поняла, что солдатик - мертв, умер. Ей стало страшно. Даже не потому, что впервые в жизни увидела она смерть совсем рядом с собой, ощутила на лице ее обжигающее дыхание. Страшно потому, что Владимир ничего не сказал по данному поводу, не выразил никакого огорчения.

Скрежетала хирургическая пила, перепиливавшая человеческие кости, дикими голосами кричали раненые.

- Хочешь жить, - успокаивал то одного, то другого Владимир, - терпи. Хлороформа нет и в помине. Радуйся, что хоть кровотечение есть чем остановить, а то пришлось бы нам с вами тут прадедовские методы вспоминать...

Римма вздрогнула: на курсах сестер милосердия ей рассказывали о методах, которые вспоминает сейчас брат. В средние века кровотечение останавливали, погружая ампутационную культю в кипящее масло или расплавленную смолу.

...Она точно не помнила, сколько времени продолжалось то, первое в ее медицинской биографии массовое поступление раненых - час, три или пять часов. Может быть, даже все семь или восемь... И она была очень удивлена, когда Володя сказал, что не отходил от стола больше полусуток! Но следующий день оказался еще труднее. Надо было делать перевязки, а бинтов, медикаментов и ваты не хватало. Она стирала в ледяной воде бинты, длинными бесконечными лентами развешивала их на улице. На морозе они не успевали высохнуть. И тогда она, сама пугаясь содеянного, накладывала людям на раны их такими, каким они были - влажными и холодными. То и дело люди просили пить, и она спешила к ним с железной литровой кружкой. Время от времени среди лежащих на земле солдат обнаруживали умерших. Когда трупы выносили, санитары нередко наступали на руки раненым, и те страшно ругались. Крепкая солдатская матерщина стояла в воздухе...

По палатке пробежал Владимир:

- Что, сестренка, замаялась?

- Ничего, - сердито ответила она.

Владимир посмотрел на нее и вдруг засмеялся.

- Это верно, что ничего! - согласился он. - Человек ко всему привыкает.

Дни работы в госпитале казались ей один тяжелее другого. Но, наверное, она справлялась. Во всяком случае, наведавшийся сюда в скором времени полковник Стефанович, хмуро глядя на девушку, сказал:

- О вас хорошие отзывы от начальства госпиталя. Не передумали на передовую?

- Буду благодарна вам, господин полковник, за представление мне подобной возможности. - Она посмотрела ему прямо в глаза. - Вы знаете, что я и раньше просилась на передовую.

На том и закончился в тот день разговор о передовой. Но жизнь, обстоятельства сложились так, что очень скоро к нему пришлось возвращаться.

Произошло это вскоре после приезда в полк Верховного главнокомандующего русскими армиями - Великого князя Николая Николаевича. Приходясь императору Николаю II дядей, Николай Николаевич командовал войсками по праву профессионального военного, а не только в силу родственных кровных связей с самодержцем. Высокого роста, худощавый, он заслужил в частях, да и у самого своего высокопоставленного племянника, прозвище Николая Длинного. Основав ставку в Барановичах, Николай Николаевич, тем не менее, регулярно навещался в части переднего края, а его приезд обычно предвещал на том или ином участке фронта скорый переход пусть далеко не всегда к самым умным, наиболее оправданным, но всегда активным действиям.

Активизация деятельности самого главнокомандующего в последнее время объяснялась тем, что на фронт, а вернее в ставку, зачастил дорогой племянничек, то есть царь. Еще в сентябре прошлого, четырнадцатого года он пожаловал туда впервые.

Синий правительственный поезд тогда укрыли в соседней с городом ольховой роще, а свитский состав оставили просто на железнодорожной станции в Барановичах. Вместе с царем прибыли военный министр В. А. Сухомлин, министр двора В. Б. Фредерикс, флаг-капитан и он же по совместительству главный придворный пьяница К. Д. Нилов и другие не слишком приятные Николаю Николаевичу гости.

Слава богу еще, что у государя хватило ума не особенно вмешиваться в деятельность дяди на посту командующего. Ровно в десять поутру каждого дня являлся он в штаб и в присутствии дяди выслушивал доклад начальника Генштаба о положении дел на фронте. И хотя потом, как правило, ничего не говорил, молча покуривая в сторонке, Николай Николаевич чувствовал - племянничек недоволен. И это не предвещало ничего хорошего.

Лично он несколько не сомневался, что на государя в Петрограде давят сразу два авторитета, подрывающие авторитет командующего. Первый, конечно же, сама царица, Александра Федоровна, откровенно расстраивавшаяся, когда русские войска наносили чувствительные поражения ее землякам-немцам. Второй - это проклятый тобольский мужик, полусумасшедший пророк Гришка Распутин. И если противу царицы командующий поднять голос никак не решался, то сообщения о поведении "божьего старца" его раздражали все больше и больше. Узнав о том, что тот планирует даже в своей необузданной наглости совершить поездку в войска, Николай Николаевич немедленно распорядился: буде появится свет Григорий Ефимович собственной персоной в ставке, не забыть схватить его и повесить на ближайшем дереве, а царю потом принести соответствующие извинения, сославшись на неразбериху военного времени.

Ко всему прочему, верные люди при дворе доносили Николаю Николаевичу, что его недоброжелатели протрубили государю все уши: Длинный любую победу войск в свою славу обращает.

Все это, надо признаться, очень не нравилось командующему, который, будучи царедворцем старым и опытным, прекрасно понимал, что он в любой момент может расстаться со своим высоким и, чего уж греха таить, весьма и весьма доходным постом. Вот почему, прибыв на сей раз в войска, он сразу потребовал от генерала Брусилова проведения новой наступательной, обязательно высокоэффективной операции. Готовясь к наступлению, русские войска щедро получали оружие, даже доукомплектовывались.

В связи с этим госпиталь, в котором служили Владимир и Римма, был передан в другое подчинение. Не пожелав расстаться с Самурским пехотным полком, оба они получили назначение в батальон - он врачом, она - сестрой милосердия.

До начала наступления Юго-Западного фронта оставались считанные дни.

НАСТУПЛЕНИЕ

Раньше ей казалось: когда люди говорят о том, что земля может гореть под ногами, - это всего лишь образ, стремление выразиться по красивее. В начале марта она увидела горящую землю своими глазами. Вместе со своей армией Самурский пехотный полк переходил в наступление - несмотря на то, что на участке Юго-Западного фронта по приказу начальника штаба австро-венгерской армии генерала Конрада фон Гетцендорфа было сосредоточено почти втрое больше артиллерийских стволов, нежели их имелось у русских. Расчет царских военачальников, как видно, был прост до чрезвычайности: страна большая, людских резервов предостаточно, справимся. Это был своеобразный отголосок все того же лозунга, с которым российские "патриоты" проиграли десять с лишним лет назад войну с Японией: "Да мы их шапками закидаем".

После очередного "взаимного обмена любезностями", который имел место между артиллеристами противоборствующих сторон, Самурский пехотный полк вместе с соседями слева и справа перешел, вернее вынужден был перейти в наступление. С наблюдательного пункта, который находился верстах в двух позади передовых проволочных заграждений, было довольно хорошо видно поле предстоящего боя. Наверное, еще минувшим летом на нем росла самая обыкновенная капуста, убрать которую ввиду развернувшихся военных действий не успели, она заросла пыреем. Пожухший и высохший пырей и горел теперь, заставляя плавиться лежащий на поле редкими белыми пролысинами мартовский тяжелый снег. Издали, наверное, это зрелище производило еще более тягостное впечатление: казалось, что выше сил человеческих пройти по этой пылающей земле и при этом еще остаться в живых...

Наблюдая из-за обложенного мешками с мерзлой землей бруствера командного пункта за ходом событий, полковник Стефанович то и дело недовольно косился на стоящего рядом с ним представителя штаба полковника Тихвинского... Старому вояке явно не по душе был этот штабист, от которого даже сейчас, в такой вот обстановке, пахло французскими духами. Сам Стефанович зарос грязноватой седой щетиной, ибо пять дней уже не имел никакой возможности побриться – дел у командира полка перед наступлением всегда по самое горло. Послал же господь этого щеголя в его расположение именно сейчас, когда нет ни возможностей, ни желания его ублажать! Неужели там, в Генштабе, полагают, что присутствие сего надушенного субъекта хоть в какой-то мере положительно скажется на положении дел?

Подумав об этом, Стефанович вдруг решительно сплюнул на мешки с землей и свирепо выругался:

- Ах, мать их!.. И чем они только там думают...

Тихвинский, по-своему истолковавший поведение командира полка, отнял от глаз призматический артиллерийский бинокль:

- Мне тоже кажется, что они там что-то медлят, - сказал он, вежливо улыбнувшись. – Видимо, пора начинать атаку?

- Пора, - сердито подтвердил Стефанович. – Эй, на телефоне! Передайте сигнал атаки!

Через минуту-другую они увидели в бинокли, как к проволочным заграждениям с их стороны начали подползать маленькие, почти игрушечные солдатские фигурки, которых было не так уж много.

- Что такое? – изумился Тихвинский. – Почему не атакуют?

- Проволочные заграждения, господин полковник, - сухо, стараясь ничем не выдать накапливающегося раздражения, ответил Стефанович, - являются преградой не только для противника, который захочет атаковать нас, но и для нас, коли мы пожелаем атаковать противника. Они находятся несколько выше уровня окопов, и потому, чтобы поднять дух людей, надо предварительно сделать в этих самых заграждениях проходы. Что мы, как вы изволите видеть, и пытаемся сделать в настоящее время.

Полковник кивнул головой: понял, дескать, свое заблуждение, прошу меня извинить. И с этого момента до самой той минуты, когда со стороны русских позиций донеслось хрипкое и недружное "ура", молчал, словно в рот воды набрал. Но вот это самое "ура" донеслось, и там, вдали, солдатики пошли в атаку. Издали это казалось ненастоящим, несерьезным, чем-то игрушечным...

- Почему они идут так медленно? – снова не выдержала душа штабиста. – Не лучше ли побежать?

- Не лучше, - буркнул Стефанович. – До передовых позиций германца еще черт знает сколько, и если солдат побежит сейчас, он устанет, и, когда надо будет, у него начнет дрожать рука, он не даст точного выстрела. А противник будет свеж, и его выстрел будет намного вернее нашего...

Казимир Стефанович сунул в рот папиросу, но прикуривать не стал: напряженно следил, как разворачиваются цепи атаки. Одна развернулась, вторая... Передний край противника молчит, хотя атакующими уже пройдено больше половины разделяющего враждующие стороны расстояния. В чем дело?

- Ждут, с... - снова тяжело выругался полковник. – Хотят поближе подпустить! Впрочем, я бы на их месте точно так же поступал бы... Надо было бы нам подождать наступления противника, а не соваться вот так...

- Наступление, Казимир Альбинович, - решенный вопрос, - ответил, назвав полкового командира по имени-отчеству, Тихвинский. – Сами понимаете, это зависит не от вас с нами. Такова воля государя, о которой объявил нам Великий князь Николай Николаевич.

- Знаю, - вздохнул Стефанович. – Против такой воли не попрешь... Лучше уж против пушек!

Он не договорил: со стороны поля затрещали частые выстрелы, на переднем крае застрекотали, торопясь и захлебываясь, вражеские пулеметы. Офицерам в бинокли было хорошо видно, как дрогнула первая цепь атакующих, начали падать люди. Не отрываясь от своего "Цейса", Стефанович давал телефонные распоряжения по ходу боя.

Странно и даже страшно было видеть, как от этого стрекотанья, сильно напоминавшего детскую трещотку, настоящие, живые солдаты рядами валились на землю.

- Неужели столько убитых?

- Залегли, - отрезал Стефанович. – Не видите разве? Эй, там, коня мне! Будьте здоровы, полковник! Вы уж отсюда любуйтесь, а мне туда надо. Боюсь, что наши дела хуже, чем я ожидал!

- Я с вами, Казимир Альбинович! – подхватил было Тихвинский.

- Не надо! Не хватало мне еще, чтобы вас прихлопнули! Сидите уж тут, полковник, ради всего святого...

Через несколько минут коренастая, словно впаянная в седло фигура Стефановича была уже далеко от командного пункта.

Вздохнув, Тихвинский снова взялся за бинокль: да, на поле, кажется, происходило что-то неладное! Вот уже цепи наступающих дрогнули и... бросились бежать. Это же поражение, разгром!

Полковник, оказавшись в роли пассивного наблюдателя, вспомнил внезапно из академического курса прописную истину. Она гласила: для того, чтобы атакой обеспечить успех наступательной операции против тщательно закрепившегося на своих позициях противника, нужно иметь на направлении главного удара как минимум шестикратный перевес в живой силе и десятикратный – в огневой мощи. Насколько можно было верить данным разведки, о подобном перевесе не могло быть и речи: силы сторон были примерно равны. Впервые мелькнула мысль: не ошибка ли командования все происходящее, не авантюра ли, оплачиваемая ценой стольких жизней, ценой позора и бесславия!

Тихвинский увидел: поднявшись из своих окопов, немцы перешли в контратаку, преследуя бегущих. Конец!

Немцы все ближе и ближе к нашим позициям... И тут он заметил нечто неожиданное: навстречу им поднимается атакующая третья волна русских! Чего угодно ожидал Тихвинский, только не этого! Стало даже обидно: почему это не посвятил его в свои планы Стефанович, не посчитался с авторитетом представителя Генерального штаба? А планы, полковник понял это сразу, были единственно верными в данной ситуации – командир полка просто-напросто подставил часть своих сил под заведомо разгромный удар немцев. Он решил, принеся в жертву для этого две цепи атакующих, выманить противника из окопов, заставить его преследовать бегущих и, подпустив как можно ближе, открыть огонь.

Именно так и получилось. Заговорили пулеметы, теперь уже русские. Поле запестрело вражескими мундирами. "Молодец все-таки Стефанович! – с чувством

некоторой зависти подумал полковник. – Жестоко, конечно, так поступать, но разве был у него другой выход?"

Он окинул взглядом надвигающуюся навстречу немцам цепь русских серых шинелей и вдруг едва не выронил от изумления бинокль. Нет, не потому, что увидел в этой цепи самого командира полка, фигуру которого даже отсюда он различал совершенно отчетливо. Дело в том, что среди наступающих он заметил... женщину! Да, да, именно женщину! С краснокрестовской сумкой на боку, она тоже бежала, как и все, вперед, навстречу врагу, навстречу смерти. Из-под шинели он ясно видел край длинного темного платья... Сестра милосердия!

Тихвинский невольно крикнул от огорчения, вспомнив, что совсем недавно в штабе армии он предлагал отойти от старых традиций и одевать на военной службе, во всяком случае, хотя бы в полевых условиях, женщин точно так же, как и прочих военнослужащих. Но один высокопоставленный тыловой генерал возразил ему:

- Не нами, полковник, придумано, не нам с вами и отменять. Женщина должна носить юбку, хоть даже и на фронте, даже в бою! Женщина да всегда останется женщиной!

Попробовал бы этот генерал сам побежать по этому вот полю в юбке!.. Теперь уже Тихвинский был не в состоянии оторвать взгляда от сестры милосердия. А та, упав на заснеженную землю, подползла к одному из раненых. Вот она что-то начинает делать... Полковник понимает: перевязка на месте, на поле боя. А сестра уже ползет к другому лежащему на снегу солдату, к третьему, пятому...

Смешалось все на бранном поле! Во многих местах стычки переросли в поединки между небольшими группами и даже отдельными солдатами. Тихвинский уже знает по опыту: наступил момент, когда противоборствующие стороны становятся практически неуправляемыми со стороны собственных командиров. Теперь, боже милостивый, куда кривая выведет, будь что будет! Но линия атакующих постепенно все-таки выравнивается, все ближе и ближе подходя к позициям немцев... И вот он уже видит заволакиваемый дымом русский флаг над командным пунктом противника. Победа!

Через пару часов измученный и грязный, злой Стефанович вновь встретился с Тихвинским.

- Поздравляю, господин полковник! – протянул руку Тихвинский. – Задумано просто гениально, я должен сказать, что преклоняюсь пред вашим военным талантом. Хотя, признаюсь, и несколько переволновался за исход вашей затеи...

- Волноваться всегда легче, чем наступать, – отрубил Стефанович.

- Я непременно доложу о ваших умелых действиях высшему командованию, – сделав вид, что не расслышал обидной реплики офицера, ответил полковник. – Думаю, не погрешу ничем противу своей совести и своих убеждений, ежели возьму на себя смелость ходатайствовать перед его превосходительством генералом Брусиловым о вашем награждении.

- Буду премного вам благодарен.

- А вот перед вами, полковник, возьму на себя тоже смелость выступить с ходатайством... Дело в том, что со своего... гм... наблюдательного пункта, что ли, я следил за действиями одной из ваших сестер милосердия. Она шла в третьей цепи вместе с солдатами... По-моему, далеко не каждый мужчина был бы в состоянии действовать в столь сложной боевой обстановке с подобным хладнокровием и отвагой. По моим подсчетам, она оказала помощь во время боя не меньше чем десятку раненых! Это просто немыслимо!

- Иванова, что ли? – запыленное лицо командира полка перекосилось неким подобием улыбки. – Я уже о ней знаю, Василий Борисович. Мне докладывали, да кое-что и сам видел. Один подпоручик, знаете ли, перед отправкою в госпиталь попросил разрешения сказать мне несколько слов. Я думаю, зачем ему командир понадобился? А

он, представляете, вошел ко мне с ходатайством о награждении Ивановой. У него была оторвана кисть руки, и, не будь там Ивановой, он наверняка бы погиб.

- Да, да, полковник, - торопливо подхватил Тихвинский, - я очень прошу вас достойным образом отметить боевую работу этой госпожи Ивановой!

А про себя подумал: и чего это так оживился старый пень, когда речь зашла о сестре милосердия? Уж не зазноба ли? Все может быть, ну, да в этом и нет, если толком разобраться, ничего плохого. Хотя, прямо сказать, трудно поверить, что Стефанович в свои пятьдесят семь лет от роду, проведенных, к тому же, в частых боях и походах, способен еще на некие подвиги романов с женщинами!

Усомнившись в подобном предположении с самого начала, Тихвинский окончательно отказался от него, когда увидел перед собой ту самую героическую милосердную сестру – совсем девчушка, с какими-то доверчивыми, до чрезвычайности доверчивыми, зелеными и большими, выразительными глазами.

- Как вы попали на фронт, госпожа Иванова? – не удержался он от вопроса, заданного несколько покровительственным тоном.

- С братом прикатила, - ответил за нее командир полка. – Он тоже у нас, младший врач.

- А скольким раненым вы оказали помощь во время минувшего боя?

Зеленые глаза посмотрели на него изумленно:

- Я не считала, господин полковник!

- Сие похвально, очень похвально... Должен, однако, сообщить, что я вошел с ходатайством к командиру полка о представлении вас к награждению боевым орденом. Думаю, это будет весьма правильно.

Вечером на доклад к командиру полка прибыл его адъютант – прапорщик Солтановский. Достал из полевой сумки свежую строевую ведомость, составленную вместе с помощником начальника штаба, и доложил:

- Наши потери в сегодняшнем бою, господин полковник, составили 324 человека. По нашим предварительным подсчетам, потери противника примерно в два раза превысили наши.

- Дальше.

- Раненые в настоящее время полностью эвакуированы в госпиталь. Их количество – 257 нижних чинов и 6 офицеров.

- Дальше.

- Командирам батальонов передано ваше приказание о подготовке списков на отмечание наградами наиболее отличившихся в бою солдат и офицеров. Документация, полагаю, будет готова к утру.

- Дальше.

- Все, господин полковник.

- Как все? – даже приподнялся с пустого снарядного ящика, служившего ему стулом, Стефанович. – Я, помнится, давал вам еще одно распоряжение. Забыли, что ли?

- Никак нет, господин полковник. При отправке в госпиталь мною лично был произведен опрос раненых, кои находились в сознании, на предмет точного установления количества тех, кому из них во время боя оказывала помощь сестра милосердия Иванова. Таковых оказалось двадцать два.

- Двадцать два! – присвистнул присутствующий при разговоре Тихвинский. – Вы видите теперь, Казимир Альбинович, что сестру надо непременно отметить особо.

- Я уже составил текст представления, - Солтановский протянул вперед руку с наградным листом, впрочем, не адресуя его никому конкретно из двух полковников, а как бы в пространство между ними – кто возьмет, тот и возьмет. – Осталось только вписать наименование награды, к коей ваше превосходительство сочтет необходимым представить девицу Иванову.

Лист взял Стефанович:

- Вы свободны, прапорщик.

Тот, щелкнув каблуками сапог, вышел из сарая, где находились на данный момент апартаменты полкового командира.

- Я думаю, - как-то нерешительно заговорил полковник, - что подобного рода действия... они достойны... ну, довольно высокой награды!

- Безусловно! – с горячностью поддержал его Тихвинский. – Пишите, Казимир Альбинович, своей рукой вот тут пишите! Вот тут... "Представляется к награждению..." Вписывайте: "орденом... гм!... орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия первой степени"!

Стефанович заколебался:

- Орден-то вроде бы не того... Не женский, Василий Борисович.

- Ну и что же! – пылко возразил ему полковник, которому, к тому же, очень хотелось наладить отношения с этим суровым армейским кадровиком. – Война есть война, и каждый подвиг на ней должен быть отмечаем по заслугам!

Эта несколько высокопарная фраза вызвала ироническую улыбку командира полка, которую, впрочем, Тихвинский и не заметил.

- Пишите, полковник, пишите!

Взяв перо, Стефанович аккуратно обмакнул его в чернильницу и размашистым почерком вписал на свободные строки наградного листа наименование ордена, к которому представлялась сестра милосердия.

Потом оба они замолчали, глядя, как медленно просыхают на листе бумаги чернила, и думая о награде, которой, возможно, скоро будет отмечен скромный солдатский подвиг Ивановой.

...Строго говоря, в России было не так уж много орденов. Первый из них – орден Андрея Первозванного – был учрежден Петром Великим еще в 1698 году. Потом, десятки лет спустя, появились ордена Александра Невского и Анны – по имени царствующей императрицы. И только в 1769 году Екатерина Вторая учредила орден Святого Георгия Победоносца четырех степеней, которым должны были награждаться офицеры и генералы русской армии за особые отличия, проявленные токмо во время военных действий. С 1807 года появился подобный, но отличный от первого, орден для награждения солдат и унтер-офицеров. Кавалеров полного банта в стране было чрезвычайно мало, и их имена украшали стены знаменитого Георгиевского зала в Кремле. Это была высшая военная награда России, и честь быть удостоенным ее представлялась лишь храбрым из храбрейших. А тут вдруг – женщина...

Оба полковника понимали, что могут вызвать своим представлением у острого на язык генерала Брусилова немало едких замечаний по их адресу. Но уже через несколько дней стало известно: командующий подписал представление не только без возражений, но даже с видимым удовольствием, сказав при этом знаменитое некрасовское:

- А все-таки и вправду, господа: есть женщины в русских селеньях!

Он же лично вручил орден Римме – раскрасневшейся от счастья и дрожащей от страха перед столь высоким начальством.

- Я счастлив, - сказал Брусилов, - что имею возможность отныне числить вас, сударыня, в числе моих личных знакомых. Я буду гордиться знакомством с вами и всегда ставить ваше мужество в пример там, где это будет возможно и нужно.

Интересная деталь: Брусилов сдержал свое слово. Будучи позднее главнокомандующим Юго-Западного фронта, Верховным главнокомандующим в 1917 году, а затем одним из первых старых генералов перейдя на сторону молодой советской власти, он часто вспоминал о Римме, ставя ее в пример подчиненным как образец солдатского мужества и воинской доблести.

- Если бы все мужчины всегда, - говаривал в своих лекциях на склоне лет генерал, - были подобны в своем мужестве этой девушке, нога неприятеля никогда бы не ступала в прошлом и не ступила в будущем на святую землю российскую!

Но все это было, разумеется, потом, позднее. А в тот вечер Стефанович и Тихвинский рисковали многим, представляя никому не известную сестру милосердия к столь высокому отличию.

- Ладно, - отвечая на невысказанные сомнения обоих, сказал, наконец, Стефанович. - Давайте, Василий Борисович, лучше выпьем по поводу успешного завершения баталии. Эй, кто там! Бутылку коньяку!

Закусывая коньяк салом с луковицей - Стефанович был в еде неприхотлив: даже запретил для офицеров готовить пищу отдельно, сославшись на сложности походной жизни, - оба несколько повеселели. Казимир Альбинович совсем собрался было рассказать своему гостю один весьма неприличный анекдот, слышанный от Великого князя, как в сарай снова заглянул Солтановский.

- Чего тебе надобно? - сердито спросил командир полка.

- В третьем батальоне задержан большевистский агитатор, ваше превосходительство, - отрапортовал адъютант. - Некий Соловьев, в нижнем чине состоящий. Просто страшный человек, ваше превосходительство!

- И к чему же он, братец ты мой, агитировал? - осведомился, поморщившись, Стефанович, которому было неприятно, что об этом факте невольно проведал Тихвинский: доложит в штабе, а там всегда найдутся злопыхатели, довольные случаем поднять визг... Разговоры пойдут, неприятности...

- Агитировал, господин полковник, к прекращению военных действий, призывал сложить оружие и даже...

- Что "даже"?

- Даже призывал перебить офицеров и всем разойтись по своим домам. "Земля джоже соскучилась по нашим рукам, - говорит. - Пора кончать эту комедию!"

Стефанович залпом выпил еще почти полстакана коньяку, сунул в рот солидный шмат сала и, пережевав и проглотив его, кивну головой:

- Это он, верно, паразит, сказал. На все сто верно!

- Не понял, ваше превосходительство...

- Говорю, что в одном этот агитатор прав: пора кончать эту комедию. Под трибунал его! Вопросы есть?

Неожиданно в разговор вмешался Тихвинский.

- Позвольте, дорогой Казимир Альбинович, - возразил он. - Зачем же нам загружать подобными, совершенно ясными дедами военно-полевые суды, у которых и так полно работы? Дело-то мы и сами в состоянии решить и в соответствии с законом. Расстрелять его - и весь сказ!

Стефанович заколебался. А в голосе Тихвинского вдруг зазвучали не свойственные ему чисто металлические нотки:

- Если мы будем, господин полковник, разводить здесь подобные церемонии, то, поверьте, эта грязная солдатня не замедлит перейти от слов к делу: мы и точно будем с вами расстреляны, либо попросту вздернуты на ближайших осинах, благо, их в округе так много. Но лично мне, признаюсь, ни то, ни другое совершенно не импонирует! - Он повернулся к почтительно стоявшему Солтановскому: - Отдайте указание расстрелять этого скота, господин прапорщик!

Солтановский дернулся, но потом все-таки устоялся вопросительно на Стефановича. Тот поморщился и ворчливым голосом сказал, глядя куда-то в сторону:

- Ну, чего стоишь, светлое твое благородие? Разве не слышал, что высшее начальство приказало? Ступай туда и передай кому следует, что его превосходительство господин полковник Тихвинский приказал агитатора расстрелять. Ясно?

- Так точно, господин полковник! Передать, что агитатора приказано расстрелять. Будет исполнено, господин полковник!

- Э, - крикнул Стефанович, - приказы надо выполнять точно, пунктуально. Тебе было сказано: передать, что приказ о расстреле отдал полковник Тихвинский. Понял теперь, что ли?

- Так точно, теперь понял.

- Вот, вот, - вздохнул Стефанович, наполнив стаканы коньяком и, снова посмотрев на порог, где все еще стоял Солтановский, лениво сказал:

- Ну, ступай же, чадо малое, неразумное... а мы тут с господином полковником выпьем... - он криво усмехнулся, - за упокой души того агитатора! В нашем распоряжении, кажется, для этого еще достаточно времени.

БРАТ И СЕСТРА

Начало тысяча девятьсот пятнадцатого года для русской армии оказалось неудачным. Тяжкие, кровавые бои, которые велись за овладение карпатскими проходами и карпатским хребтом, поначалу вроде увенчались успехом. 22 марта капитулировал сильно укрепленный Перемышль со своим двадцатитысячным гарнизоном австро-венгерских войск. Но, наверное, на этот решительный удар у русских ушло лишком много сил: развить или хотя бы просто закрепить успех они не смогли. В середине апреля, после мало что давшего наступления на отдельных участках фронта, наши войска по приказу Николая Николаевича перешли к обороне. Это были дни и недели самых неприятных для солдат и офицеров так называемых позиционных боев. Снова сказались острая нехватка боеприпасов, продовольствия, снова на фронт с берегов далекой Невы стали поступать иконы с изображениями всевозможных святых и плакаты с описаниями "подвигов", якобы совершенных во имя твердости престола Николая II.

Разведка доносила командованию: немцы накапливают на Карпатах свежие силы, готовят ответный удар. Позднее, в мае, эти сведения нашли свое подтверждение: силы противника превосходили противостоящие им русские части в шесть раз, а по количеству тяжелых артиллерийских орудий - в сорок раз! Не надо быть военным человеком, чтобы понять всю глубину пропасти, в которую затягивал царизм широкие народные массы...

Но в апреле, повторяем, на фронте образовалось затишье, то самое, которое принято называть затишьем перед грозой и которое опытного военного командира никогда не демобилизует.

Время от времени то с одной, то с другой стороны начиналась ленивая перестрелка - иногда по приказу командования, а то и просто от скуки.

Но порою случалось, что перестрелка принимала ожесточенный характер, и Стефанович несколько раз рискнул бросить свой полк на отдельных участках обороны в атаку.

И снова, как и в самом первом своем "настоящем" бою, Римма была в первых цепях наступающих, оказывала помощь раненым.

- Вот какова русская женщина! - слышал Владимир, как однажды отозвался о ней низенький худощавый солдатик. Фамилия его Черкесов, и вскоре Римма получила от него из Петроградского военного госпиталя письмо. Оно сохранилось в семье Ивановых, и мы поэтому можем процитировать его сегодня, не отходя от текста оригинала, который сейчас поступил на хранение в музей имени Г. Праве.

"Милостивая наша благодетельница, дорогая сестричка милосердия! Передаю вам от нижних чинов полка искреннюю благодарность. За ваши чувства к нам, солдатам, за ваши труды и заботы. Я не в силах выразить вам ту благодарность за ту сердечность к нам, бедным калекам, пошли Господь вам за это здоровья.

Я и сам не уверен, что даже моя родная сестра так не заботилась бы обо мне, как это делали вы, не ведая отдыха и свободного времени. Я сейчас нахожусь на излечении в

городе Петрограде, 14-я линия, дом №57, Французский лазарет. Кирилл Васильевич Черкесов".

Получив это письмо, Римма долго над ним плакала, и Владимир, как мог ее успокаивал.

- Не понимаю, - говорила она сквозь слезы. - Почему к ним так относятся? Разве они, солдаты - не люди? Почему же они, став вдруг по чужой воле инвалидами, ходят по миру, собирают милостыню? Почему, Володенька?

И, проглотив слезы, закончила:

- Я всегда буду делать для них все, что в моих силах, Володенька! Эти простые люди лучше нас - честнее, открытее... Так неужели они не заслужили хоть капельку своего счастья на этой земле? Пусть маленькую каплю, пусть самую ничтожную... А ты еще упрекаешь меня...

- Конечно, упрекаю! - взорвался Владимир. - А иначе как прикажешь мне понимать и расценивать твоё безрассудство? Вчера, к примеру, ты бросилась за заграждения, чтобы вытащить того солдата, помнишь, с развороченным животом? Я же говорил: не следует этого делать - он все равно не жилец. Но стоило мне только отойти на два шага в сторону, как ты рванулась через бруствер! И что же? Ты не успела сдвинуть его даже с места, как он отдал богу душу. Стоило ли, отвечай мне, так рисковать?

- Стоило, Володенька... Разве я могла поступить иначе?

- Тебя просто убьют, - с сожалением сказал Владимир. - А ты знаешь, как говорил великий Суворов о качествах, которыми, по его мнению, должен обладать настоящий герой?

- Какими же, интересно?

- Суворов сказал: "Истинный герой должен быть отважным, но без запальчивости; скорым, но без опрометчивости; расторопным, но с рассуждением; подчиненным, но без унижения; начальником, но без кичливости; победителем, но без тщеславия; благородным, но без гордости; ласковым, но без лукавства; скромным, но без притворства; приятным, но без легкомыслия; искательным, но без ухищрения; проницательным, но без пронырства; откровенным, но без оплошности; приветливым, но без околичностей; услужливым, но без всяких выгод для себя; решительным, но без упрямства".

- Вряд ли, все это, Володенька, имеет к нам хоть какое-то отношение...

- В то и беда, что не имеет! Потому что ты пренебрегаешь почти всеми суворовскими "но"! Нельзя, понимаешь, нельзя подвергать собственную жизнь опасности из-за каждого тебе совершенно незнакомого солдата! Солдат - вещь казенная, и солдат должен, соображаешь, должен подвергать свою жизнь ежечасной опасности!

- Понимаю, Володенька, понимаю. Но разве сестра милосердия, исходя из твоей логики, - не такая же казенная вещь? Разве она не должна подвергаться опасностям?

- Солдат много, ты - одна на целый батальон. Исходя только из этого, ясно: лучше потерять солдата, нежели сестру милосердия! Я запрещаю тебе впредь рисковать понапрасну. Я, наконец, просто возьму и напишу обо всех твоих художествах домой!

- Тогда я напишу им о твоей истории, - улыбнулась Римма, - и мы наверняка будем квиты!

Владимир вспылал:

- Это - разные понятия, милая моя! Я просто не мог, не имел права не вмешаться в ту гнусную историю! Иное дело - ты...

- Вот и я не имею права не вмешиваться в другие гнусные истории, - насторожилась Римма. - Разве убивать людей, по-твоему, не гнусно?

- Гнусно, конечно, - отступил немного Владимир. - Больше того: лично я уверен, что война - остаток животного в человеке. Но видишь ли...

- Ладно, Володенька, - устало сказала она. - Перестанем говорить обо всем этом.

- Почему перестанем?

- Ты же сам знаешь, почему... Так мы с тобой, милый мой, видно, устроены. Нас уже не переделать... Ты выйди, пожалуйста, мне нужно переодеться.

Оставшись одна, Римма посмотрела на дверь, за которой только что исчез брат: воистину - один упрекает другого в том, в чем сам виноват, в чем сам не меньше других грешен! Разве Володенька - не упрямец? Он сам только что получил разнос командира полка за всю эту историю с расстрелом большевистского агитатора. Разве дело младшего полкового врача - вмешиваться в подобное? Ох, Володя, Володенька...

Она узнала обо всем, что случилось с Владимиром, от совершенно посторонних людей, от солдат, оказавшихся свидетелями стычки Владимира с прапорщиком Солтановским.

... Адъютант командира полка вышел от своего хозяина и тотчас потребовал к себе командира одного из взводов по фамилии Федорченко.

- Немедля выделить двух солдат! - писклявым, но все равно "командирским" голосом распорядился Солтановский. - Его превосходительство полковник Тихвинский приказали. Пригласите также врача Иванова. Приведите арестованного Соловьева. Прошу всех следовать за мной!

Когда вышли далеко в поле, Солтановский торжественно провозгласил:

- Приказано расстрелять большевистского смутьяна. Более подходящего места нам не найти, здесь и исполним... Доктор, в ваши служебные обязанности входит засвидетельствовать факт смерти со всею очевидностью. Становитесь, Соловьев!

Высокий костлявый человек лет сорока вздрогнул, быстро метнул взгляд на Солтановского.

- Бойтесь, гады, - негромко, с угрозой произнес он. - Бойтесь, бойтесь... Недолго уж вам бояться осталось! Скоро сметем вас, паразитов, с лица матушки-земли, да так, что духу вашего поганого не останется! Ну, что стоите? - повернулся он к солдатам, рвану на груди гимнастерку. - Стреляйте же, раз вам приказано!

- Молчать! - завизжал, начисто забыв о своем "командирском" голосе, Солтановский. - Подлец! Скотина! Предатель!

- Сам ты предатель, прапор, - сплюнув по ноги, сказал Соловьев. - Погоди, шкура, скоро и ты окажешься на моем месте. Только я помираю не напрасно, а вот ты... - он не договорил: Солтановский подбежал к солдату и, неловко размахнувшись, ударил его по лицу.

- Сволочь! - закричал он.

- Прекратите, прапорщик! - неожиданно для самого себя бросился к нему, схватив его за руку, Иванов. - Как вам не стыдно быть человека, который не может ответить вам тем же?

В тягостно наступившей тишине вдруг прозвучал насмешливый голос Соловьева:

- Почему же не может? А ну, получи сдачи, ваше благородие!

Страшный удар свалил Солтановского с ног. Издав пронзительный писк, прапорщик покатился по земле, схватившись обеими руками за голову. Все оцепенели. Покатавшись, Солтановский с трудом сел на земле, принялся дрожащими пальцами расстегивать кобуру револьвера. Иванов слишком поздно понял его намерение: один за другим прогремели три или четыре выстрела. Соловьев покачнулся и, не издав ни единого звука, опустился на колени, а затем упал на бок. Оцепеневшие солдаты, так и не снявшие с плеч винтовок, не сговариваясь, посмотрели в ужасе на Иванова.

- Похороните этого несчастного, - сказал им Владимир, удостоверившись, что перед ним труп. - Как же это... мерзко!

Он повернулся и, не оглядываясь, пошел по полю обратно...

О случившемся Солтановский представил командиру полка рапорт, особенно упирая в нем на то, что исполнение приказа командования прапорщик Иванов обозвал не иначе как мерзостью, а кроме того, провоцировал приговоренного к смерти солдата на избиение прапорщика, что тот и выполнил, поддавшись на провокацию... Неизвестно, чем

бы кончилась вся эта история, что бы случилось с несчастным младшим полковым врачом, не получи аккуратно в тот день полковник Стефанович приказа императора о своем производстве, наконец-то, в генерал-майоры. Последнее обстоятельство в значительной степени облегчило судьбу прапорщика Иванова. К величайшему неудовольствию Солтановского, Казимир Альбинович ограничился тем, что сделал "взбунтовавшегося" офицеру соответствующее, хотя и весьма грубых тонах, внушение впредь быть благоразумнее.

- Еще раз повторится нечто подобное, - завершил он свою тираду угрозой, - пойдете в военно-полевой суд, пусть он вас и поставит к стенке, коли уж вам так хочется. Я не намерен потворствовать всякому сопляку, который мнит себя пупом земли. Запомните: мне ничего не стоит сделать так, что этот самый пуп вдруг окажется закопанным в эту самую землю... Ясно, прапорщик?

- Так точно, господин генерал!

- Вы пока свободны, прапорщик, но зарубите себе на носу все, что сегодня от меня слышали.

История быстро стала достоянием солдат, и Иванов не без внутренней гордости отметил, что нижние чины при встрече с ними приветствуют не только по уставу, но и с чувством явной симпатии. Зато личность Солтановского, и раньше не вызывавшая ни у кого особенных симпатий, превратилась вдруг сразу в омерзительную и всеми ненавидимую. Даже офицеры здоровались с ними как бы нехотя, а кто-то из них даже пошутил:

- За увечье, полученное на фронте, полагается награда, не правда ли, Солтановский? Так что и вы требуйте положенной вам, - и он показал на расплывшийся на половину лба прапорщика синяк...

- погоди, ваше благородие, - роптали за его спиной солдаты, - уже придет час, посчитаемся с тобой за Соловья...

Услышав подобную фразу в группе собравшихся у костра солдат, Владимир не преминул сделать им надлежащее внушение о необходимости беспрекословного повиновения приказам начальства, ибо они, приказы эти, всегда вызваны не только собственной, но высшими, неведомыми солдатам, соображениями.

На сей раз его выслушали без всякого внимания, а солдатик по кличке Волгарь даже осмелился возразить:

- Оно так и есть, ваше благородие. Да только ежели охвицеры поступают не по-людски, рази ж можно от нас требовать, чтоб мы к им людьми булы?

Иванов махнул рукой и ушел, слыша за своей спиной, как солдаты продолжают возмущаться Солтановским:

- Такого выродка самого бы пришить из револьверта!

- Ничего, робя, отольется ему еще Соловьева кровушка!

Вот на какую историю, бывшую с братом, намекнула столь прозрачно Римма, парируя его угрозу написать письмо родителям в Ставрополь.

Переодевшись, она было собралась пройти к палаткам с легкоранеными, но на пороге вдруг послышались голоса. Постучавшись предварительно в дверь, в комнаты вошли Владимир и Алексей Учинский, который из своего батальона вырваться к ним в гости имел возможность не очень часто.

- Позвольте приветствовать вас, сударыня! - воскликнул он, опускаясь пред ней на колено. - Разрешите поцеловать пыль с ваших ног и после этого умереть от счастья!

- Позволяю вам сделать это, доблестный рыцарь! - засмеялась радостно Римма. Ей было приятно видеть Алешу - неунывающего, веселого. - Заходите скорее в мой будуар и рассказывайте, какие ратные подвиги удалось вам совершить за последние дни, ибо я ничем иным не могу объяснить такого долгого вашего отсутствия, как участием в великих сражениях!

- Да, моя прекрасная дама! Вы, как всегда, абсолютно правы! - воскликнул восторженно Учинский. - Я действительно совершил за последние три-четыре дня несколько подвигов, но говорить о них...

- Рассказывайте поскорее! Я буквально сгораю от нетерпения.

- Право, не знаю, с чего и начать... Пожалуй, с самого последнего моего подвига, который я совершил только вчера. Это была моя страшная месть за вашего брата, прекрасная дама. Я рассчитался с генералом Стефановичем за все его бездумные угрозы по адресу нашего Володи!

- Как вам удалось это сделать?

- О, это достаточно длинная история! - Алексей опустился на табуретку, дав тем самым брату с сестрой возможность усесться рядом на одной из двух кроватей. - И, главное, очень страшная история. Я боюсь, что вам, прекрасная дама, станет дурно, когда вы ее услышите!

- О, мой рыцарь! Вы так великодушны, но я не из пугливых!

- Тогда, пожалуй, начну... гм, с чего же начать-то? Пожалуй, с того, что у Стефановича вчера утром внезапно разболелся зуб мудрости. Он, генерал то есть, тотчас поинтересовался, кто из врачей в полку знаком с практическим зубо врачеванием.

- И этим врачом оказались, конечно, вы?

- Разумеется! Итак, я предстал пред ясны очи новоиспеченного генерала. "Раскройте ротик, ваше генеральство!" Его превосходительство раскрыло пасть, полную гнилых и желтых зубов. "Шире, ваше превосходительство". Поверьте, я не видел в жизни более глупого выражения на человеческом лице, чем оно было у нашего генерала, сидящего передо мной!

- И вы принялись за дело?

- Немедленно. Я дважды ухитрился ему сломать этот проклятый зуб. Генералу давали нюхать нашатырь, ибо он, безусловно, был близок к обмороку...

- И чем же кончился ваш "подвиг", о, рыцарь?

- Я надрезал генералу десну и наконец все же ухитрился удалить тот зуб. Когда Стефанович пришел в себя, я дал ему честное слово, что боль пройдет в ближайшие сутки. А генерал мне в обмен свое честное слово, что он мне этого никогда не забудет! Так что, господа и дамы, я считаю свою дальнейшую карьеру обеспеченной! Кстати, - он повернулся к Владимиру, - я принес тебе то, что ты просил. Вот оно, - он протянул Иванову какую-то аккуратно сложенную в несколько раз газету.

Тот торопливо вырвал ее из рук друга:

- Неужели нельзя было отдать попозже?

- Извини, не сообразил как-то... Римма Михайловна, не откажите в любезности прогуляться в компании с вами к ближайшим палаткам, а я побуду немного с вами.

- Ну, - Римма поднялась, - учитывая, что в ближайшем будущем вы сделаете блестящую военную карьеру, которая вам столь недвусмысленно обещана, не могу отказать вам, рыцарь.

- Будь здоров, приятель! - протянул Алексей руку Владимиру. - Если еще кто-нибудь тебя обидит, приходи ко мне и скажи, я отомщу. Главное, чтобы у обидчика вовремя разболелись зубы!

Когда Римма вновь воротилась в комнату, брата на месте не было. В поисках расчески она выдвинула верхний ящик солдатской ветхой тумбочки и вдруг увидела в его дальнем углу ту самую потрепанную газету, которую сегодня принес брату Учинский. Развернула и удивилась - никогда в жизни не видела она такой газеты: "Пролетарский голос", номер один, февраль 1915 года. Первое, что увидела на полосе, была огромная статья под названием "Война и российская социал-демократия". Пробежала глазами начальные строчки: "Война, которую в течение десятилетий подготавливали правительства и буржуазные партии всех стран, разразилась..."

И строчки эти не позволяли ей тотчас положить газету на место. Любопытно, что это такое? Заглянула в конец статьи, как в детстве непременно заглядывала в конец каждой читаемой книги, желая поскорее узнать, что же случилось с героями. Подпись поразила: "Центральный комитет Российской с.-д. рабочей партии". Что же это, большевики, что ли? И если большевики, то при чем здесь Володя, при чем Алексей? Она вспомнила о недавнем расстреле большевистского солдата-агитатора и почувствовала, как в сердце закрадывается холодная и большая змея страха. Боже мой, если это так, что же будет с мальчиками? Римма поспешно спрятала газету на место, закрыла ящик и огляделась по сторонам: не видел ли кто? В комнате, однако, она была одна, и любопытство вскорости взяло верх над страхом: она вновь достала измятую газету.

"Обе группы воюющих стран, - читала Римма, - нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны, но чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны против буржуазии как "своей" страны, так и "чужих" стран, для этой высокой цели буржуазия каждой страны ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение "своей" национальной войны и уверить, что она стремится победить противника не ради грабежа и захвата земель, а ради "освобождения" всех других народов, кроме своего собственного..."

Римма остановилась на мгновение, стерла со лба крохотные капельки пота. И вспомнила сдавшихся в плен чехов - это были вчерашние крестьяне, которые рассказывали, что там, дома, у них остались голодающие семьи и дети, что земли мало, офицеры силой гонят их воевать против русских, но они очень не хотят этого делать... Чем же, в самом-то деле, отличаются они от своих русских голых и босых братьев, которым единственно что могут великодушно предложить, так это только умереть "за престол и Отечество"?

Она снова впиалась в газетный лист глазами. "Но мы должны сказать, что если что может при известных условиях отсрочить гибель царизма, если что может помочь царизму в борьбе против всей российской демократии, так это именно нынешняя война, отдавшая на службу реакционным целям царизма денежный мешок английской, французской и русской буржуазии... Но для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии".

Римма читала жадно, торопясь, чтобы Владимир не застал ее за этим занятием. Читала с чувством страха за брата: ведь это была та самая "запрещенная" литература, за которую уже несколько человек в полку отправились под военно-полевые суды. Но одновременно она и гордилась братом: вот, оказывается, какие вещи не боится он читать, какие мысли, может быть, разделяет! А в том, что в мыслях этих была большая часть правды, она, даже со своим незначительным жизненным опытом, не сомневалась.

"Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну, - замирая, читала Римма, - есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистической войны между высокоразвитыми буржуазными странами. Как бы ни казались велики трудности такого превращения в ту или иную минуту, социалисты никогда не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении, раз война стала фактом".

Она еда успела положить газету на место, как вошел брат, следом за которым, появившись, остановился у самого порога солдат Ивлев. Римма знала этого добродушного здоровяка, который даже сейчас, на фронтовых скудных харчах, мог своими богатырскими ручищами запросто согнуть подкову. К удивлению сестры, Владимир сразу же полез в ящик и, достав газету, протянул ее Ивлеву:

- Спрячь понадежнее. Только смотри, головой мне за нее отвечаешь!

- Не извольте беспокоиться, Владимир Михайлович. Все будет хорошо, - улыбнулся тот.

Римму удивило при этом не столько то, что Владимир отдал запрещенную газету солдату, сколько то, что тот обратился к брату не по уставу, а почти как равный к равному. Словно почувствовав, что сестре что-то не понравилось в его поведении, Владимир, повернувшись к ней, подмигнул заговорщицки:

- О чем задумалась, детина?

- Ни о чем, - вдруг смутилась и покраснела она. - А вот... хотела спросить...

- Ну, - подбодрил он ее. - Хватит заикаться, говори что-нибудь членораздельно!

- А что это значит... "Преобразование империалистической войны в войну гражданскую"?

Он на мгновение окаменел от неожиданности, а потом принужденно засмеялся:

- Успела прочитать что не положено, так, что ли, стрекоза? Смотри только, держи язык за зубами, а не то придется венки на мою могилку преждевременно добывать. А в прифронтовой полосе это задача нелегкая! Что-нибудь хоть поняла из того, что прочитала? Или так - мимо сознания?

- Все поняла, - храбро соврала Римма. - Вот только насчет войны этой самой... Что же это получается: надо, выходит, добиваться такого положения, чтобы русские люди воевали против своих же, русских людей?

- Выходит, что да, но только не совсем, - тряхнув головой, сняв фуражку и бросив ее на стол, ответил Владимир. - А коли интересуешься, ладно, садись, расскажу кое-что.

Когда он кончил, Римма долго сидела молча. Потом спросила:

- Но там еще написано, что... воюющие стороны придерживаются одних целей. Неужели война ведется только ради того, чтобы не было революций у нас и в Германии? Неужели государь и кайзер на самом деле... не желают друг другу гибели?

Владимир пожал плечами:

- Поживем - увидим, сестренка...

Да и откуда было ему знать, насколько точно попала в цель Римма своим, чуточку, наверное, наивным вопросом! Мы с вами, читатель, знаем теперь это абсолютно точно. Хотя многие из документов, доказывающих сей факт, сожжены царской четой после переворота, но нет-нет, да и вылезает наружу до сих пор тщательно скрываемая кое-кем правда.

Так, к примеру, лишь в 1967 году гамбургский журнал "Штерн" опубликовал хранящееся в боннских архивах письмо кронпринца - сына Вильгельма II - герцогу Гессенскому для передачи русской царице. "Слишком глупо, - обращаясь к своей высокопоставленной в России родственнице, писал он, - что мы терзаем друг друга... Не можешь ли ты связаться с Ники и посоветовать ему столкнуться с нами по-хорошему?.. Только пусть он вышвырнет вон это дерьмо - Николая Николаевича!.."

Вот так - и никак иначе!

Письмо это относится к 1915 году. И лучшим доказательством того, что совет "враждующих" родственников был принят к сведению, является сам факт скорого устранения Николая Николаевича от командования армиями. Ники - Николай II - как видно, совета послушался...

ВТОРОЙ ОРДЕН

На всякой войне непременно есть одна из самых скромных, но между тем и самых рискованных профессий. Называется она – связист. Ее представители редко становятся генералами, о них не пишут романов, да, наверное, и нет в том особенной необходимости. Просто всеми принято считать, что связь должна работать всегда, при любых, самых

исключительных обстоятельствах... Но давайте все-таки немножко поспорим с общепринятым среди военных мнением! Трудно в бою пехотинцу: полная выкладка, а средство передвижения одно-единственное, зато, как показывает опыт, самое надежное – собственные ноги. Тут, конечно, речь идет о временах достаточно отдаленных: сейчас мотострелок – "человек на моторе". Но тогда было так, как мы говорим... Тяжко пехотинцу, не сладко! Но, поверьте, вдвойне тяжелее связисту! Потому хотя бы, что, помимо всего вышеназванного, тащит он в руках, дрожащих от напряжения, еще и катушку с телефонным кабелем – если он линейщик. А не приведи господь – радист! Значит, плюс к тому еще и полевую радиостанцию, по сравнению с которой полный патронный ящик – нечто вроде гусиного перышка, не достойного внимания.

Издавна в армии связистов величают с некоторым оттенком высокомерия – "наша интеллигенция". Отчасти так оно и есть: в холодное зимнее время связист нередко устраивается в самой теплой палатке – под боком у командующего. Случается порой так, что даже командиры пехотных полков заглядывают к нему отогреться, послушать мерный писк морзянки, вздремнуть на узком деревянном рундучке, с которого тот самый связист при этом сгоняется, как говорится, без всяких угрызений совести.

И он нисколько не обижается на начальство. Сидит, плотно насадив на уши микротелефонную гарнитуру, и даже делает вид, будто идущая в данный момент война его и вовсе не касается. Его интересует только этот противный писк морзянки, только показания пляшущих стрелок на всевозможных индикаторных приборах. Когда идет сражение, связист нередко остается от него в стороне, чем вызывает на себя огонь насмешек товарищей по оружию: вот, дескать, отсиделся Аника-воин под крылом у командарма!

Зато когда наступает после боев радостная пора внеочередных отпусков и наградений, связист по-прежнему остается в стороне...

Да, работа связи – непреложный закон армии, а тем более закон войны. И сколько же связистов гибли во все времена, чтобы закон этот ни на мгновение не терял своей силы. Каждый девятый человек, сгоревший в огне Первой мировой войны, был связистом.

...Под маленькой деревенькой Ивантеевкой вдруг потерялась связь, и командарм, ясное дело, тотчас отдал приказ о ее восстановлении.

Прапорщик Соловьев, командовавший взводом, послал на восстановление связи молоденького большеглазого солдата Крутикова, только что призванного. Тот побледнел, тяжело вздохнул и молча полез под бруствер. Он, наверное, знал, что надежд доползти до места, в котором был перебит злополучный кабель, у него было очень мало. Но так уж устроен русский солдат, что не спрашивает в такой момент, есть ли вообще резон в приказе командира, нельзя ли принять какое другое решение. Он идет выполнять приказ и гибнет...

О том, что Крутиков погиб, стало совершенно ясно через какие-нибудь десять-пятнадцать минут после того, как его хиленькое неуклюжее тельце выплеснулось из окопа наружу.

Прапорщик снова посмотрел на окружающих его солдат. Он вовсе не был дураком, этот прапорщик! О нет! Он прекрасно понимал, что избранный им сейчас для выполнения приказа человек – почти смертник. Нелегкий предстоял ему выбор... Но каждый командир, особенно на войне, обязан уметь делать это быстро и без колебания! Обязан, несмотря на личные симпатии и антипатии, несмотря ни на что...

И прапорщик сделал выбор:

- Сергиенко, - сдавленным голосом сказал он. – Надо быстренько восстановить связь.

Римма обратила внимание: не сказал: "Приказываю восстановить связь!" Вроде, как даже попросил. Но разве бывают командирские просьбы, не равнозначные приказу?

Сергей Сергиенко, рослый крепкий парень, совсем недавно призванный в армию, вздрогнул всем своим могучим телом и набожно перекрестился: он тоже понимал, о чем идет речь. Подошел к прапорщику, молча снял с шеи медный нателный крест.

- Возьмите, ваше благородие. В случае чего, жене моей Христине Семеновне да троим деткам... В станицу Сторожевую... Эх, мать честная!

И решительно перемахнул через все тот же бруствер. Бросился на землю, пополз вдоль кабеля.

Снова минули томительные пятнадцать минут. Их вполне хватило бы для того, чтобы отрезвизовать всю линию связи, на всем ее протяжении. Но беда в том, что одним своим участком она проходила по территории, прекрасно пристреленной врагом, и эта территория находилась никак не более чем на расстоянии пяти-шести пластунских минут от окопа русских. Поэтому можно смело считать: если солдат не подал за это время о себе никаких сведений, если не заработала связь – это конец!

- Прапорщик! – в телефонной трубке раздался хриплый бас командира полка Стефановича. – Что со связью? Командарм не может соединиться со штабом!

- Пока, к сожалению, ваше превосходительство, восстановить не удастся...

- А я хотел бы видеть твои сожаления знаешь где?! – было слышно, как зло выматерился старик. – Связь восстановить немедленно!

Прапорщик снова осмотрелся по сторонам. И вдруг мальчишеским, каким-то ломким и виноватым голосом спросил:

- А что? Может, кто сам вызовется, ребята? А?

В голосе его звучала слабая надежда: а что, если и в самом деле отыщется доброволец? Видимо, не очень хотелось прапорщику брать на душу еще один смертный грех! Потому что только тот, кто никогда не держал оружия в руках, не воевал, может наивно полагать, будто послать человека на смерть – дело если не самое простое, то достаточно обыденное. Нет, разумеется. Даже генералам, давно ушедшим в отставку, порою снятся ночами трудные сны о минувших походах и боях, и просыпаются вдруг они посреди ночи со сверлящей мозг мыслью: а все ли правильно было сделано ими в том или ином конкретном случае? И до конца дней несчастен тот из них, кто вдруг отыщет в запасниках памяти положительный ответ на этот роковой вопрос! Потому что отныне и до самой гробовой доски будут приходить к его постели ночами погибшие по его вине люди – недолюбившие, разные. И все – свои, родные... И будут строго смотреть они мертвыми пустыми глазницами прямо тому генералу в смятенную душу: что же ты, человеке, с нами наделал, почто погубил без крайней на то нужды для Отечества?.. Как ты на то решился?!

Понимал ли все это в тот страшный день прапорщик Соловьев? Мы думаем, несмотря на молодость, понимал. А сделать подобный вывод позволяет совершенный им тогда поступок, зафиксированный в полковом журнале боевых действий, хранящемся в Центральном военно-историческом архиве.

- Может, кто сам вызовется? – безнадежно повторил прапорщик. Не вызвался никто. Так тоже бывает, хотя пишут и говорят о подобных ситуациях намного реже, чем о тех, когда героизм одиночки вдруг заражает всех окружающих своим порывом.

Не нашлось желающих... И прапорщик решил просто:

- Богданов! Ты остаешься за меня.

А сам, перекинув через плечо аппарат полевого телефона, чтобы было чем прозвонить при удаче линию, молча кивнул на прощание всем: вдруг, дескать, больше не доведется свидеться. И исчез. Все за тем же проклятым бруствером! Римма смотрела ему вслед с восторгом и восхищением: именно такими представлялись ей сейчас легендарные суворовские чудо-богатыри! Соловьев в ее представлении стал человеком невероятной силы, хотя был он мал ростом и худ статью. Но разве были когда физические силы человека более важными и решающими, нежели невидимые силы его души и сердца?

...Снова потекли тяжкие минуты ожидания. Рев и свист боя висели над траншеями русских. Перестрелка не стихала ни на минуту. И это противоречило всем правилам

ведения боя позиционной войны. Дело в том, что, скорее всего, ни одна из сторон не намеревалась в ближайшее время покинуть свои хорошо укрепленные траншеи для решительного броска на противника. Как русские, так и немцы даже продолжали работы по укреплению своих рубежей обороны, по мере сил и возможностей затягивая подступы к ним колючей проволокой, минирруя вероятные пути подходов, обеспечивая надежные дороги для подвоза продовольствия и боеприпасов. А огонь – это-то и представляло собой исключение из правила – и не думал стихать, словно перед атакой. Выпускаемые озлобленными людьми снаряды и пули чертили в воздухе свои трассы почти наобум, но это вовсе не значило, что ни одна пуля, ни один осколок не достигали цели...

Всего два часа назад один из таких шальных снарядов угодил в их траншею, разорвавшись метрах в ста двадцати от того места, где находилась Римма. Там, где теперь видна дымящаяся, забрызганная кровью воронка, обедал у своего "максима" пулеметный расчет. Когда рассеялся дым, одного из солдат на месте не оказалось вообще. А тело второго лежало на краю воронки. В сущности, это было даже не тело, а его половина: все, что было ниже пояса, бесследно исчезло. И этот страшный обрубок человека какое-то время еще продолжал жить: он хватался руками за края воронки, и под его кровавыми пальцами осыпалась с тихим шорохом розовая, ни в чем не повинная, обожженная человеческим безрассудством земля...

Римма не кричала, став свидетельницей этого ужаса. Наверное, потому, что это была вовсе не первая смерть, прошелестевшая своими крылами над ее головой и лишь по чистой случайности ее миновавшая. Римма видела как-то: два солдата – наш и немец – во время атаки одновременно вонзили друг в друга свои штыки. Наш – трехгранный и длинный, немец – плоский, покорежен. Но результат был один... Она долго смотрела тогда на эти завшивленные трупы, которые даже похоронили, за неимением времени, в одной могиле, и думала: почему, ну почему вдруг стали врагами эти люди? Наверное, оба были – из самых низов, из бедноты, оба выросли, мечтая о лишнем куске самого обыкновенного ржаного хлеба. Почему же теперь, в эту минуту, они с таким остервенением идут друг против друга? Почему и для чего придумали люди войны вообще, а эту, нынешнюю, самую страшную из всех предыдущих, в особенности? Неужели не смогли бы жить эти два человека в мире и согласии, не убивая один другого?..

...Минуты шли. В какое-то мгновение стрельба за бруствером сделалась особенно интенсивной, и Римма с душевным содроганием поняла: оттуда, с вражеской стороны, засекли прапорщика. Бьют по нему! Боже, праведный Боже, если ты только есть, сделай так, чтобы в него не попали!

Она рискнула – подняла голову над бруствером. И увидела сразу Соловьева: в неестественной позе лежал он в паре сотен шагов от окопа. И тут же она оказалась сама за бруствером, на поле. Прижавшись лицом к холодной земле, поползла вперед, к прапорщику. Услышала позади себя истошные солдатские вопли:

- Куда, куда тебя, сестрица!..

- Назад! Ах, чертова девка, чтоб тебя!.. – несло вслед.

Римма продолжала ползти вперед. Толстую санитарную сумку она толкала впереди себя, стараясь все время держать ее на уровне головы: если и угодит что, то, может, не насмерть, сумка частицу пулевого удара примет. Ползти было трудно: поле когда-то было пахотой, и теперь оно напоминало собой поверхность гигантской стиральной доски, ребра которой были твердыми и к тому же поросли сухими колючками. Пальцы мгновенно – в кровь! У самого лица что-то шлепнулось о землю, показалось – большой кузнечик. Взметнулся фонтанчик пыли: не кузнечик – пуля! Если бы чуть ближе – все, конец! При мысли этой она на мгновение похолодела и даже прекратила движение. Но потом поползла снова. Снова остановилась. На этот раз – поняв, что кратчайшее расстояние между двумя точками – не всегда прямая. А она почему-то ползет к прапорщику строго по прямой. Но вот всего в десятке шагов правее земляной отвал виднеется. Если бы суметь добраться туда и поползти по нему... Она же совсем тоненькая, не то, что мужчины. Ее

тот отвал прикроет от вражеских пуль не хуже настоящего окопа. Поползла, стараясь слиться с землей, в которой усматривала единственную возможность спасения. Так, наверное, и былинные русские богатыри крепко-накрепко прижимаются к матери сырой земле, чтобы набраться новых сил и выстоять против очередного супостата, пришедшего на землю русскую... Вот он, отвал!

Облегченно вздохнув, Римма скатилась в него, больно ударившись коленом о камень. Зато теперь почти без помех – вперед! Ползком, ближе к прапорщику. Он заметил ее... Смотрит... Молчит... Она видит пятно крови на его гимнастерке, откуда начинается струйка, стекающая на землю. Может быть, ранение и тяжелое, но несомненно одно – жив! И Римма снова устало толкает перед собой сумку, будто та и в самом деле может спасти ее от пули.

- Зачем ко мне? – шепчет бескровными губами Соловьев. – Зачем, сестрица? Конеч мне один, а ты пропадешь ни за что...

- Молчи, прапорщик! – сердится она, лихорадочно разрезая набрякшую кровью, ставшую липкой гимнастерку. – Давай быстренько перевязку сделаем!

Рана рваная, осколочная. Но перевязку все-таки, после наложения тампона, удастся сделать, унять кровотечение. А вот как тащить раненого назад? Дело вовсе не в том, что не хватит сил на это. Сил-то хватит, но ведь стреляют, проклятые, как стреляют! Безостановочно палят!

- Вот что, - говорит она. – Ты поворачивайся на спину. Больно будет, а ты терпи. Надо перевернуться... Ну, миленький, ну же! – она уговаривает раненого, словно терпеливая мать капризного ребенка.

Они проползли всего несколько шагов, как прапорщик, закрывший было глаза, встрепенулся:

- Стой, сестра, - прошептал он. – Стой, тебе говорят!

В голосе его прозвучало что-то такое, отчего Римма и точно остановилась.

Соловьев морщится от боли и смотрит, указывая ей взглядом в сторону:

- Туда мне надо. Туда... Обрыв... кабель... вон же его видно... обрыв...

Римма смотрит в сторону, указанную Соловьевым, и видит два куска голубого телефонного кабеля, перебитого осколком.

- Связь... - прапорщик дергается и стонет, падая ей на руки. – Там связь... нужна связь...

Она и сама понимает это. Но что делать, как быть? И неожиданно для самой себя говорит:

- Лежи здесь, горе мое! Тебе нельзя. Кровь снова пойдет. Я сама справлюсь.

И по-пластунски вперед... Снова насвистывают свою песенку смерти над ее головой торопливые пули, хоть и нечастые, но зато близкие-близкие.

Метр, три, пять... десять метров. Вот он – кабель!

Она достала из сумки скальпель и неумело зачистила им концы, начала скручивать их негнушимися пальцами. Стальные жилы поддавались плохо, но никаких других инструментов у нее не было. Рука сорвалась, сталь ударила тугой безжалостной змейкой по пальцам. Потекла кровь, но Римма не обращала на это внимания, продолжая свое столь непривычное дело. И вот провода кое-как скручены, места скруток обмотаны бинтами – никакой другой изоляции не было. Римма разворачивается и ползет назад – к своему прапорщику.

- Все в порядке, горе мое!

Он прикрывает глаза, силится кивнуть ей и... теряет сознание. Напрасно пытается Римма положить его мгновенно потяжелевшее тело на спину. Один раз, когда она почти добилась своего, пуля чиркнула совсем рядом, пробив полевую сумку прапорщика. "Пристрелялись, - устало подумала Римма. – Как только чуть-чуть поднимемся над поверхностью, так и конец..."

Но дороги вперед больше нет. И выход один – ждать наступления темноты...

Лишь в половине первого ночи, совершенно обессиленная, она поползла до наших траншей, таща на себе едва живого прапорщика. Обоих отправили в госпиталь. Римма, придя в сознание, первым делом спросила:

- Как Соловьев?

Над ней склонился старший полковой врач.

- Тихо, дочка. Все хорошо с твоим прапорщиком. А тебе разговаривать не следует.

Исхудавшей, почти прозрачной вернулась она к своим. И там только узнала: Соловьев, так и не приходя в сознание, умер. Обманул ее, оказывается, старший полковой врач, не сказал правды, пожалел...

А несколько дней спустя за мужество, проявленное при спасении офицера, и восстановление линии связи особой важности ей был вручен Георгиевский крест. Второй в ее короткой жизни.

Радовалась ли она, получая столь высокую награду? Спустя многие годы мне рассказывал сослуживец Риммы Алексей Учинский, что вскоре после этого в полк приехал, привлеченный слухами о подвигах Риммы, фотограф из какого-то журнала. И изъявил желание сделать ее снимок "при наградах". А девушка вдруг вспылила и ответила довольно резко:

- Я сниматься не буду!

- Но почему же? – изумились окружающие.

- Потому, что... - она долго искала подходящие слова. – Чем больше орденов на груди солдата – тем больше, значит, убил он других... Мне кажется, было бы гораздо правильнее, если бы тем, кто начинает и ведет войну, выдавали не ордена, а розги. Я лично бы поступала именно так...

ПОВОРОТ СУДЬБЫ

Главнокомандующий русскими армиями Великий князь Николай Николаевич широкими шагами расхаживал по просторному кабинету и отрывисто говорил, обращаясь к собранным по его приказу старшим офицерам ставки и Генерального штаба.

- Скрывать от вас истинное положение дел в России и на фронте не считаю ни возможным, ни сколько-нибудь оправданным. Страна кипит, словно адский котел, наполненный серой. Роль дров, поддерживающих в этом котле высокое давление, играют социалисты, большевики. Если в прошлом, четырнадцатом году, мы имели во всей стране семьдесят рабочих стачек, то только за три месяца этого года их отмечено свыше трехсот. Если мы позволим большевикам и дальше хозяйничать такими темпами в нашем доме, то придет час, господа, когда нам самим придется идти в приживалки к какому-либо добропорядочному родственнику. Фронт буквально нашпигован большевистскими агитаторами, а на каждом прифронтовом заборе мы видим их листовки с возмутительными текстами. Недавно был отмечен случай, когда солдаты противных сторон, бросив оружие, устремились навстречу друг другу и начали обниматься, целоваться даже... В марте таких случаев на русско-австрийском фронте отмечено уже несколько. Это называется, господа, бра-та-ни-ем! Вместо того, чтобы стрелять по противнику, храня верность присяге и трону, наши солдаты обнимают врагов России! На кораблях нашего Балтийского флота и в частях созданы и работают группы большевиков. Они в полном смысле слова разлагают армию, и государь справедливо видит в этом причину всех наших неудач на фронте. Посему, господа, поскольку большинство из вас сегодня направится в действующую армию, повелеваю вам своей властью и по указанию государя: с большевиками бороться суровее и активнее, они для нас опаснее немцев и австрийцев! Я уже дал предписание упростить работу наших военно-полевых судов, которые докатились до такой степени глупости, что иное дело по обвинению агитаторов

рассматривают подчас по целому дню! Все отныне будет просто: попался агитатор - он должен быть немедленно расстрелян! В этом вижу я, господа, не только наш солдатский долг, но и единственный шанс для спасения положения на фронте...

Великий князь остановился посреди кабинета:

- Должен сказать: до меня доходят слухи о том, что в столице, пользуясь текущим тяжким положением нашим, есть немало людей, которые пытаются возложить вину за происходящее на всех нас и, разумеется, на меня грешного. Особо усердствует этот чертов богомолец - старикашка Распутин... Мне доподлинно известно, какие козни он строит и замышляет против меня. Но, несмотря на все это, я прошу вас, господа, хранить верность престолу и свято выполнять пред ним свой солдатский долг. И помнить мои слова: никакой пощады большевикам! Никакой и нигде!

Находясь под впечатлением этой своеобразной речи главнокомандующего, полковник Тихвинский ехал из Барановичей на фронт, в полк Стефановича, еще не зная, что уже буквально с первых минут своего пребывания там ему придется вплотную столкнуться с деятельностью большевиков.

Все началось с того, что повсюду сующий свой любопытный носик с красным кончиком Солтановский в одном из окопов увидел вдруг прапорщика Иванова, который читал солдатам какую-то газету. Полковой адъютант подошел к группе поближе.

Но, заметив его, Иванов вдруг неспешно свернул газету, разорвал ее на несколько равных частей и протянул солдатам:

- Закуривайте, ребята!

Все торопливо насыпали на листочки табак, задымили. Поначалу все это не вызвало у Солтановского никаких подозрений. Но, собираясь уходить, он остановился как вкопанный: один из куривших солдат, Тихонравов, вдруг тяжело закашлялся, подавившись резким, словно наждак, дымом.

- Тихонравов, - призвав на помощь свой командирский голос, обратился Солтановский к солдату, - ты же некурящий, вроде бы, а? Ты же всегда свой табак на сахар с другими обменивал, а?

- Да, вот, - виновато ответил тот, - тоже задымил... Тут разве не задымишь?

Что-то заподозривший Солтановский притянул к нему руку:

- Дай!

- Что, ваше благородие?

- Цигарку дай. Я тоже потянуть хочу.

Солдат протянул ему недокуренную самокрутку. Поборов брезгливость, Солтановский пару раз потянул в себя горький махорочный дым, а потом сказал как мог веселее:

- Хороша цигарка, Тихонравов! Ты уж закури другую, а я твою дотяну. Договорились?

И, сопровождаемый настороженными солдатскими взглядами, пошел к штабному сараю. Едва притворив за собой дверь, он немедленно погасил самокрутку, развернул листок бумаги, неровно обгоревший по краям, поднес к глазам и присвистнул. Бережно расправив листок, адъютант направился к командиру полка. Но того на месте не оказалось, вместо него за столом сидел полковник Тихвинский. Солтановский даже поразился - уж этот спуску виновникам не даст, да и о поощрении его, Солтановского, за бдительность позаботится: не каждый день с подобными делами попадают офицеры полка!

- Что вам угодно? - не особенно любезно осведомился полковник. - Генерала нет, он обходит посты, может быть, я чем-то смогу быть вам полезным?

Вместо ответа Солтановский протянул полковнику обрывок газеты с неровно обгоревшими краями.

- Что это?

- А вы почитайте, ваше превосходительство, что там написано.

Тихвинский поднес бумагу к глазам и из обрывков слов догадался, что речь идет об антивоенной агитации большевиков. Но переспросил:

- Что это? Откуда сия мерзость?

- Эту газету читал солдатам один из наших прапорщиков! - торжественным тоном, с ликованием в голосе пропищал Солтановский. - А когда увидел меня, порвал ее и отдал солдатам на сигарки. Поняв, что здесь явная крамола, я взял у одного из солдат окуроч. Вы видите, ваше превосходительство, что это за газета!

Вошедший в этот момент генерал Стефанович услышал последние слова доклада, который с видимым удовольствием делал его адъютант. Он молча взял из рук полковника злополучный обрывок газеты, поднес его к самым глазам. Повернул голову к Тихвинскому:

- Беда, Василий Борисович, просто беда! Что твои вши, заедают эти проклятые агитаторы! Что делать-то будем?

- Я, между прочим, только что из Барановичей, из ставки. По этому поводу совершенно недвусмысленные указания высказал главнокомандующий. Великий князь порешил просто: расстрелы, расстрелы и расстрелы. Никакой пощады большевикам! Полагаю, что у нас нет никаких оправданий для отступления хоть на шаг от данного приказа.

Стефанович крикнул, повернулся к адъютанту:

- Скажи там, Солтановский... пусть немедленно арестуют этого офицера и представят мне на подпись документацию для предания его военно-полевого суду. Как бишь его фамилия-то, этого умника?

- Прапорщик Иванов, ваше превосходительство!

- Иванов?! - генерал надолго задумался. - Василий Борисович, - он повернулся к полковнику, который, уже не слушая продолжения разговора начальника с подчиненным, читал газету, привезенную им из ставки, - а ведь, знаете ли вы, это же тот самый Иванов... Ну, помните? Врач он, понимаете ли, а у меня врачей - раз-два и обчелся! Хотя и прощать подобные вещи, понятное дело, никак нельзя, но...

Запутавшись окончательно в своих мыслях, Стефанович, дабы не ляпнуть перед высокопоставленным полковником чего лишнего, просто счел за благо замолчать.

- Иванов? - сдвинул к переносице брови Тихвинский. - Да, конечно же, помню! Какая неожиданная, право, история... И неприятная до чрезвычайности. Да-с! Но оставлять, и вправду, безнаказанными подобные деяния никак нельзя. Не приведи господь, проведает Николай Николаевич... Человек он крутой, до рядовых разжаловать может...

Тихвинскому было нехорошо от мысли, что именно он сейчас должен решить вопрос о наказании, причем весьма суровом для человека, который спас ему жизнь. Полковник даже пожалел, что столь опрометчиво сослался на слова Николая Николаевича, тем самым отрезав себе всякий путь к отступлению. И в то же время чувство какой-то глухой обиды на Иванова поднялось у него в груди: какого черта полез он в это дело, такое далекое от хирургии? Кажется, из вполне обеспеченной семьи, офицер с перспективами, и на тебе - в революционеры подался! Но что же, в самом-то деле, предпринять? Если пойти на попятную, не скажет ли Стефанович, что Тихвинский милует большевистских агитаторов?

Походив в раздражении взад-вперед, Тихвинский, наконец, в раздумье остановился перед насупленным Стефановичем.

- Так вы говорите, Казимир Альбинович, - осторожно спросил он, - врачи у нас сейчас на вес золота?

- Какое там "золота"! - безнадежно махнул рукой генерал, почувствовав, что Тихвинскому нужна его поддержка только для того, чтобы дело Иванова "спустить с горки". - Все золото земли готов отдать сейчас за пару таких, как он, медиков! Сами

знаете, Василий Борисович, что творится на нашем участке фронта: потери велики, а не будет хороших медиков - удвоятся утраты, обязательно удвоятся.

- Но... но ведь Иванов должен быть сурово наказан? - то ли утверждая, то ли спрашивая, отозвался полковник.

Генерал вздохнул:

- Как вы сами решите, Василий Борисович.

- Вот что... Да-с, пожалуй... Знаете, как мы с вами сделаем? - Тихвинский вздохнул облегченно. - А давайте-ка мы этого вашего Иванова переведем в другой полк! В Оренбургский, к примеру. Он - на острие главного удара, и сам факт попадания в него - уже немалое наказание. А взамен оттуда возьмем для вас врача. И волки сыты будут, как говорится, и овцы целы! И специалистов в полку не убавится, и никто не скажет, что Иванов не наказан достаточно сурово! Как полагаете, Казимир Альбинович?

Генерал кивнул головой: это, действительно, было выходом из положения! Помимо всего прочего, подобное решение достаточно щекотливого вопроса не бросало нежелательной тени на полк и его командира.

- Вы предлагаете воистину соломоново решение, Василий Борисович! - восторженно поддакнул Стефанович Тихвинскому. - В сложившейся обстановке все, что вы только что сказать изволили, будет очень и очень правильным!

- Ну вот и хорошо! - даже зачем-то перекрестился Тихвинский. - В армии, если только не возражаете, я разрешу все вопросы сам.

Договоренность, решившая дальнейшую судьбу прапорщика Иванова, была тут же скреплена бутылкой легкого шампанского, причем обе стороны, принимавшие участие в ее распитии, остались едва ли впервые за всю войну, чрезвычайно довольны друг другом...

Совместное решение полковника и генерала в буквальном смысле спасло младшего врача Иванова. В армии в то время расправлялись с большевиками жестоко, страшно. На эту жестокость уже обреченный царизм делал одну из самых последних ставок.

И люди, оказавшиеся по воле судеб в самом горниле первой мировой, понимали это. Понимал и Владимир, понимала, хотя и, наверное, в несколько меньшей степени, Римма.

- У нее вообще-то был, как мы тогда говорили, философический склад ума, - вспоминал Учинский. - Во всяком случае, ее постоянно волновал вопрос: для чего вообще ведется война? Я как-то изволил пошутить: "Зачем ты так упорно доискиваешься ответа? Не мы первые воюем, не мы последние". А она мне в ответ - вполне серьезно, без шуток и улыбок: "Ты прав, что - не первые. Но неужели же мы - не последние? Ведь нет на земле большей глупости, нежели войны! Почему же люди не покончат с ними раз и навсегда?"

...Вечером снова началась перестрелка. Стефанович не придал ей ровно никакого значения, но совершенно неожиданно неприятель вдруг оставил свои хорошо насиженные окопы и перешел в атаку. Пришлось срочно начинать ответные действия, и хотя атака была явно "несерьезной", кое-какие потери все-таки имели место, а Римма успела вынести с поля четырех раненых. На все это можно было бы и не обращать внимания, но после того, как немцы вернулись на исходные рубежи, с докладом к командиру полка явился начальник штаба. Его сообщение буквально потрясло генерала: убит прапорщик Солтановский.

- Как... убит? - не сразу поверил Стефанович.

- В окопе, судя по всему, пулеметной очередью, поскольку у него в верхней части спины не меньше пяти входных пулевых ран. Видимо, он поднялся над бруствером, и в этот момент...

- Да, но люди поднимаются над бруствером лицом! Почему же он убит в спину? Это невероятно!

- Почему же невероятно? - подал вдруг свой спокойный насмешливый голос Тихвинский. - Подобные вещи в нынешней обстановке очень даже возможны, да-с. В Оренбургском полку солдатами, как установлено, застрелено во время атаки никак не

меньше пяти офицеров. Как только начинают вкруг палить, некоторые наши солдаты открывают огонь по своим. Мы лишились таким образом в масштабах фронта не одной сотни лучших, преданнейших офицеров. Это, опять-таки, дело рук большевиков, прямое следствие их антивоенной агитации.

Стефанович буквально подпрыгнул на месте, услышав эти слова.

- В моем полку?! - загремел он. - Найти подлецов! Расстрелять их без промедления! Да что там расстрелять! Шкуру спустить, повесить! Я сам надену им на шею пеньковую веревку!

Генерал бушевал долго. Он то сновал по штабу взад-вперед, то в изнеможении падал на старый, притащенный откуда-то тыловиками и кишачий клопами кожаный диван, тер виски и говорил:

- Ему-то хорошо, барбосу: повесим - и все! А вот мне каково? Что я скажу старому Солтановскому? Большевики... агитаторы... Что я скажу, боже правый!

В результате разбирательства выяснилось, что на участке, где был застрелен Солтановский, вели огонь с нашей стороны пять пулеметов. Четыре из них трофейные, а пятый - "максим" с пулеметчиком Трофимовым. Когда-то этот Трофимов уже осуждался военно-полевым судом и отправлялся в маршевый штрафной батальон за то, что ударил командира взвода - тот всего лишь обозвал его каким-то не совсем цензурным словом. Только предстоящее наступление и спасло тогда Трофимова от расстрела. Может, и смерть прапорщика - его рук дело?

- Все это можно проверить очень просто, - посоветовал Тихвинский. - Велите извлечь из трупа одну-две пули, и по ним будет видно, какого они производства - русского или австрийского.

- Сделать это надо немедленно, - возбужденно говорил Стефанович прапорщику Иванову. - Достать из трупа пулю и тотчас доложить мне. Ступайте, я жду вас здесь сразу же после извлечения пули.

Взяв под козырек, прапорщик успел перехватить настороженный и в то же время какой-то беспокойный взгляд полкового командира, адресованный только ему. И сумел прочитать в нем если не приказание, то просьбу: не подведи, Иванов! Не дай этому штабному хлысту возможности поглумиться над честью полка, да и самого его командира...

- Солдаты вашего Солтановского не любили, - вновь заговорил Тихвинский. - Ведь это, помнится мне, как раз он застрелил собственноручно того агитатора... Тогда он сделал глупость, и теперь расплатился за оную своей шкурой. За все на этом свете, знаете ли, приходится платить. Да-с!

- Между прочим, солдат, о котором вы изволили говорить, Василий Борисович, расстрелян по вашему личному приказанию.

- Я об этом еще не забыл. Но уверен: случись что, мне в спину стрелять вряд ли бы стали. Дело в том, что народец в нашей России глуп и сер, как серо то солдатское сукно, в которое мы его обрядили. И в силу этой вот своей серости он распространяет чувство мести лишь на непосредственных исполнителей тех или иных акций... Сумей ваш хлопец сделать так, чтобы агитатора расстреляли сами же солдаты, и все было бы в полном порядке. Вместо этого он сам принялся дырять большевика пулями. Словно, поймите меня правильно, служил не адъютантом командира полка, а, простите, мясником на второразрядной скотобойне. Так что я лично, к примеру, нисколько не грущу по поводу трагической кончины господина Солтановского. Дурачья в нашей многострадальной стране и так, как вам известно, предостаточно!

... Кратко рассказав Римме о полученном задании, Владимир попросил ее сбегать за необходимыми инструментами и принести их в третий батальон.

- Генерал просто в ярости, - словно оправдываясь в том, что заставляет сестру заниматься не свойственными ей делами, пояснил Владимир. - Не приведи господи, коли пули взаправду окажутся из нашего "максимки"!

Так оно и оказалось. Владимир в растерянности посмотрел на пули, вспомнил, что генерал, собственно, не приказывал приносить их ему, а приказал только доложить о результатах. И Иванов решился: размахнувшись как можно шире, он швырнул пули в темноту, за бруствер. Оглянулся - не видел ли кто? Нет, кажется, никто ничего не заметил. Даже Римма, узнав, в чем заключается дело, вдруг торопливо ушла, сославшись на чрезвычайную занятость.

Стефанович выслушал Владимира вполне благосклонно. Он даже с чувством некоторого превосходства посмотрел на Тихвинского, когда услышал, что пули были из пулемета австрийского образца. Хотя это все равно бросало некоторую тень на четверых пулеметчиков-самурцев, но теперь уже были шансы и на то, что злополучные пять пуль в тело дурака Солтановского вlepили с той стороны окопов.

- А пули, господин прапорщик, где пули? - спросил негромко Тихвинский.

- Пули? - несколько замешкался с ответом Иванов. - Вы не приказывали, господин полковник, равно как и командир полка, доставить пули сюда. Я оставил их на месте вскрытия.

- Значит, мы можем сейчас пройти туда, где вы производили свою работу, и найти эти пули?

- Сейчас ночь, господин полковник...

Теперь уже и Стефанович смотрел на Иванова настороженным взглядом: вся история опять, кажется, могла повернуться к бесславию полка и его командира.

- Место, надеюсь, вы помните, где остались пули? - с надеждой в голосе спросил он.

- Конечно, ваше превосходительство.

В дверь постучали.

- Ну да! - недовольно крикнул генерал. - Кого это черти там мордуют, чтоб вас...

Свое благое пожелание, готовое вот-вот слететь с языка, он не закончил: на пороге стояла Римма. Генерал, поперхнувшись, сдержал слова, застрявшие в горле.

- Что вам угодно, сударыня? - не отвечая на ее приветствие, спросил он девушку. - Вам придется несколько подождать.

- Я, Казимир Альбинович, - пользуясь своим несколько привилегированным положением в полку, Римма обратилась к нему даже не по званию, - помогала брату извлекать пули из трупа прапорщика, убитого в третьем батальоне... А потом... Я увидела, что пули остались на столе, где производилось вскрытие... И подумала: а вдруг вы сами, лично захотите на них взглянуть?

- Ну, - встрепнулся генерал. - Неужто принесла? Вот и молодец. В отличие, между прочим, от своего братца...

Он не без волнения принял лежащие на ладони девушки пять почерневших и уже окислившихся от крови пуль.

- Австрийские! - генерал, нисколько не скрывая своего облегчения, сунул их Тихвинскому прямо под нос. - Видите, господин полковник?

- Да, - согласился тот. Но при этом посмотрел на брата и сестру весьма недоверчивым, свидетельствующим о непрошедшем подозрении, взглядом.

... Выйдя за дверь, Владимир обнял Римму и чмокнул ее во влажную щеку:

- А ведь ты у меня умница!

- Да, - ответила она, не удержавшись, чтобы не съязвить: - В отличие, между прочим, от своего братца!

- Согласен, полностью согласен! - он поднял руки. - Но скажи мне, бога ради, откуда ты взяла эти пули? Как вообще догадалась?

- А тут и догадываться было не о чем. Суть дела ты ж мне сказал сам. Пока ты доставал пули, я решила на всякий случай перестраховаться: побежала и быстренько вынула пули из трупов убитых, которых уже собирались хоронить...

- И солдаты видели? - встревожился Владимир.

- Видели, - беззаботно ответила Римма. - Только ты не бойся, они никому ничего не скажут. Они все понимают, и, кроме того...

- Что "кроме"?

- Кроме того, они, кажется меня любят...

- Да кто ж тебя не любит! - всплеснул руками Владимир. - Вон Алешка Учинский, который, кроме себя, кажется, сроду никого не любил, и тот тебя любит! Тебя же, Римка, никак нельзя не любить! Соображаешь: нель-зя-я!!!

А в это время, оставшись в штабе полка наедине с его командиром, Тихвинский небрежно бросил Стефановичу фразу, после которой тот почувствовал, что с этого мгновения ненавидит блестящего "князеньку" с прежней силой.

- А знаете, господин генерал, - сказал Тихвинский, - я ведь - удивительно благодарный человек. Представьте себе: если бы на месте Иванова оказался сейчас любой другой офицер, он через сутки за всю эту историю с пулями был бы по приговору суда непременно расстрелян. Знаете ли вы это?

- Знаю, - зло ответил Стефанович, выходя из штаба.

В ОРЕНБУРГСКОМ ПЕХОТНОМ

Римма перебралась в другой полк вместе с братом. Она категорически заявила генералу, пытавшемуся ее удержать, что без Владимира остаться у самурцев никак не может и, если ей не разрешат следовать за ним, вынуждена будет обратиться с рапортом к самому главнокомандующему. Стефанович хорошо помнил, что Николай Николаевич, вручавший буквально на днях сестре орден Святого Георгия, подозрительно долго тряс ей руку, обшаривая маслянистыми глазами округлости ее фигуры, а на прощание сказал:

- Будет в том необходимость, госпожа Иванова, обращайтесь с вашими нуждами ко мне лично.

Памятуя обо все этом, генерал не стал чинить сестре милосердия препон в ее желании продолжить службу уже не в Самурском, а в Оренбургском полку, куда направлялся за известные читателю прегрешения ее брат.

Отъезд Ивановых неожиданно для всех оказался почти торжественным. К Владимиру подошел тот самый пулеметчик - Трофимов, поклонился по русскому обычаю - в самый пояс:

- Век буду Бога молить за вас, ваше высокоблагородие! Кабы не вы да не сестрица ваша, не быть мне в живых, - сказал он шепотом, глядя в самые глаза прапорщику.

А к Римме в ее комнатенку пришла делегация солдат и вручила ей от имени всех нижних чинов Самурского полка приветственный адрес, написанный не слишком красивым почерком на огромном листе желтоватого картона. Зато от всей души. Адрес этот сохранился до наших дней.

"Дорогая Римма Михайловна, обстоятельства заставляют вас покинуть наш полк. За полгода вашего пребывания в среде самурцев, на полях сражений, во время которых вы мужественно переносили все боевые труды, лишения и опасности, мы, самурцы, все сроднились с вами, полюбили вас всем сердцем.

Мы прямо скажем, что вашими неустанными заботами и геройской смелостью многие раненые самурцы спасены от верной смерти... Примите от нас, русских солдат, земной поклон за то, что вы для нас не щадили своей жизни".

Под адресом - буквально сотни корявых мужицких подписей...

А хмурый Стефанович, почтивший Римму личным посещением, протянул ей лист со своим отзывом о ее службе:

- Возьмите, госпожа Иванова. Вдруг придет час - сгодится!

Римма развернула лист и прочитала твердый почерк генерала: "За время нахождения в полку в качестве добровольца-санитара нельзя не отметить с особой

признательностью самоотверженную работу и плодотворную деятельность г-жи Ивановой. Неустанно, не покладая рук, работала она на самых передовых перевязочных пунктах, находясь всегда под губительным огнем противника. И, без сомнения, ею руководило лишь одно желание - прийти на помощь раненым. Г-жа Римма Иванова в бытность свою в полку представлена к награждению Георгиевскими орденами, славными и большими, что подписью и приложением казенной печати удостоверяю".

Ей негде было хранить эти документы, и она переслала их домой, к родителям. Откуда было ей тогда знать, что спустя более полувека бумаги попадут в музей, приобретут историческую ценность! Именно благодаря этому обстоятельству мы и можем сегодня цитировать их.

А тогда, разумеется, ей было не до истории... События на фронте становились все более угрожающими, и каждому приходилось того, женщине - вдвойне.

...Сто пятый Оренбургский пехотный полк был заштатной частью русской армии, держащей оборону на участке почти в двенадцать километров по фронту. Заслуг особых у полка, в отличие от Самурского, не было. Сформированный в 1833 году в результате раздробления Олонецкого пехотного полка, он принимал участие в знаменитой Севастопольской обороне 1854-1855 годов, был даже удостоен за то Георгиевского знамени. С тех пор всегда, как и в этой войне, оренбуржцев неизменно преследовали жестокие неудачи, а командирами полка становились почему-то совершенно бездарные в военном отношении люди.

Только с начала нынешних военных действий состав полка полностью обновился из-за потерь уже дважды, а полковник Андрей Андреевич Граубе стал четвертым полковым командиром: трое его предшественников уже мирно почивали в галицийской земле, оплакиваемые чадами и домочадцами и напрочь забытые тем самым государем, за которого они, собственно, и не пожалели "живота своя". Последний вывод напрашивался сам собой: государь, учитывая, что полной выслуги ни у кого из трех погибших полковых командиров не было, соизволил повелеть назначить их семьям не полный, а лишь половинный пенсион. Узнав об этом, Граубе крепко, чисто по-русски выругался, ибо, несмотря на немецкую фамилию, был исконно русским человеком, и в своей родословной, которую знал до шестого колена, к удивлению, не мог обнаружить ни единого немца.

Женат был Граубе неудачно: возвратившись с русско-японской войны, узнал об измене жены и, как человек, не могущий выносить хоть пятнышка на своем военном мундире, немедля развелся. Обе дочери остались с отцом.

К Граубе и попали для продолжения службы Владимир и Римма. Ни он, ни она, ни Граубе не знали, что вместе они прослужат всего два боя.

В самом первом Римма вынесет Граубе с поля боя. А он, человек большой и грузный, попав на перевязочный пункт, вдруг потребует ее к себе и, стыдясь чего-то и смущаясь невероятно, начнет просить у девушки... прощения. Порядком удивленная, она ровно ничего не поняла тогда из слов полкового командира, а ларчик-то, что называется, открывался просто.

Дело в том, что командир Оренбургского пехотного полка терпеть не мог у себя женщин, хотя бы даже и сестер милосердия, стремясь заменить их при малейшей возможности мужчинами. Приняв же документы Риммы, он был неприятно удивлен: два Георгиевских креста, заработанных в течение полугода военных действий! Это походило на нечто фантастическое, из ряда вон выходящее. Граубе счел своим долгом расспросить о новой сестре старшего полкового врача.

- Смазливая, что ли? - поинтересовался он.

- Я бы даже сказал, красавица, господин полковник.

- Видно, не ты один так бы сказал! Видать, юбкой награды зарабатывает. У нас ведь много в армии мужичья, готового расплатиться за свое собственное удовольствие государевыми наградами...

- По слухам, господин полковник, госпожа Иванова - девица поразительной храбрости. О ней ходят целые легенды, она вынесла из-под огня свыше полутысячи человек! А популярность ее в солдатских массах ни с чем не сравнимая! Мне рассказывали, что однажды во время боя она была оглушена разорвавшимся неподалеку снарядом. Кто-то крикнул, что сестру милосердия ранило. И половина полка рванула через бруствер, чтобы только вытащить ее из-под огня...

И полковник, действительно, в первом же бою увидел, какова храбрость новой милосердной сестры! Оказавшись раненным в ногу, он даже пытался отогнать от себя подползшую Иванову:

- Ничего не надо, кроме перевязки! Сейчас стрельба уже пойдет на убыль, тогда и пришлете ко мне пару солдат, чтобы к позициям добраться.

- А вы не командуйте, господин полковник, - тихо ответила девушка. - Ложитесь вот лучше на шинель... Поехали!

И она потащила его на шинели к своим окопам - около километра! Если бы кто-то раньше сказал полковнику, что подобное дело окажется этой тоненькой девушке по силам, они ни за что не поверил бы.

К счастью, рана оказалась не особенно опасной: через три с небольшим недели Граубе вновь приступил к исполнению своих обязанностей.

В первый же день по возвращении из госпиталя он вызвал к себе Иванову.

- Вот что, - сказал. - Я решил перевести вас с передового перевязочного пункта в тыловой госпиталь. Думаю, что от вас там будет больше пользы.

- Господин полковник?!

- Что "господин полковник"? Не на танцульках, чай, находитесь: хочу - танцую с этим, а с тем - нет... Тут действующая армия, а в армии приказы начальства - закон! Так вот: мне угодно отдать вам именно такой приказ!

Строго говоря, у полковника были все основания торопиться с возвращением Ивановой в госпиталь. Уж больно понравилась ему эта отважная девушка с открытым взглядом больших рассудительных глаз. И старому солдату не хотелось, чтобы она, Римма, нашла свою смерть на поле брани.

- Три Георгия отхватила девка, - сказал он старшему полковому врачу. - Соображаешь: три! Не каждому мужику такое дадено! Да и то сказать, сколько же в этом цыпленке спрятано мужества... Я, между прочим, горжусь, что последний, третий крест у нее - за мою скромную персону даден... И кажется мне, что хватит ей на том судьбу испытывать. Побереги девчонку. Такие, как она - гордость наша российская!..

Кроме всего прочего, будучи в госпитале, Граубе узнал, что ему вновь отказано государем в чине и ордене, а Николай Николаевич при встрече довольно прозрачно намекнул ему насчет выхода после кампании в отставку. Оценивая свое положение достаточно трезво, не обольщаясь ровно никакими надеждами на лучшее будущее, Граубе решил поторопиться убрать Иванову с передовой, пока его самого не убрали из армии вообще. Он знал по опыту своих старших товарищей, что это может случиться в любой момент. К одному генералу, например, прикатил молоденький полковник и предъявил предписание главнокомандующего передать полк, а самому выехать в столицу для оформления отставки. Нечто подобное вполне могло случиться и с ним самим, хотя причин нелюбви государя к нему Граубе, как ни силился, понять не мог.

- Ладно уж, - успокаивал он себя, - им, наверху, виднее, нежели нам, грешным.

Но, успокаивая себя, Граубе нередко вспоминал слова русского академика А.В. Никитенко, который как-то сказал: "В России не служить - значит не родиться, оставить службу - значит умереть". Что касается Граубе, то к нему, наверное, этот афоризм подходил как нельзя более: кроме службы, у него ничего за душой не было. Дочери выросли, повыходили замуж, им, как водится, теперь не до старика отца.

Получилось, однако, что первым с армией расстался не Граубе, а сам Николай Николаевич. В августе 1915 года он был заменен на посту Верховного

главнокомандующего самим царем. Вольно или невольно, но это замедлило, если не отсрочило надолго решение судьбы полковника Граубе: когда решаются дела о больших людях, до маленьких добиваются далеко не сразу.

Тем более что вся армия была потрясена происходящим. В архивах сохранился протокол заседания Совета министров России от 6 августа, на котором председательствовал глава кабинета И. Л. Горемыкин.

Из протокола видно, сколь категорично возражал министр иностранных дел Сазонов против назначения главнокомандующим Николая II. Более того: он прямо назвал обстановку на фронте катастрофической, практически непоправимой. Как знать, не вспоминал ли в тот час Сазонов о письме своего "крестника", в котором тот прямо описывал, без всяких прикрас положение вещей на фронте? Как знать...

Но, как бы то ни было, смена командующего вскоре состоялась. Уже 20 августа Николай II приказал перенести ставку из Барановичей в Могилев, куда вскоре прикатил и сам лично. Начальником штаба стал генерал Алексеев, в недавнем прошлом - командующий Северо-Западным фронтом.

Царь считал, что принятие им командования на себя поможет поправить дела в армии, на всем фронте. Поддержку и помощь ему оказывали все, кому не лень, в том числе и пресловутый Гришка Распутин, который поторопился выдать царю свои "святые заветы". "Твердость стопа божия, - нацарапал он в своем послании, - против немцев не наступайте держись румынского фронта оттуда слава воссияет господь укрепит оружие молюсь горячо Григорий".

А августейшая супруга новоиспеченного главнокомандующего, вообще видела опасность не в немцах, - ей русский народ куда страшнее.

"Дорогой, - вещала она супругу, - будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским... Дай им теперь почувствовать твой кулак. Они сами просят этого - сколь многие недавно говорили мне: нам нужен кнут. Это странно, но такова славянская натура".

Дело близилось к развязке...

В ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ И ПОСЛЕ

Свою деятельность на посту Верховного главнокомандующего Николай II начал с решения "самых важных" вопросов. Один из них - о призыве в армию ратников ополчения второго разряда для укомплектования корпусов, основательно поредевших на галицийских полях. Против этого, однако, яростно возражал "святой старец" Распутин. Николай Николаевич тем не менее очень настаивал на призыве, и Александре Федоровне из-за этого пришлось даже писать мужу в ставку: "Относительно призыва 2-го разряда: скажи... что ты против этой меры... Уж лучше призови следующий год..."

Все, оказывается, было просто: к ратникам второго разряда был причислен сынок Распутина, а ему не хотелось идти и помирать "за царя и Отечество". И Распутин отшлепывает фрейлине Анне Вырубовой "святую" телеграмму: "Получил весть что сына моего забирают я сказал в сердце неужели я Авраам века прошли один сын и кормилец пушай он владычествует при мне как при древних царях помоги".

Ушли, короче говоря, ратники, защищать Отечество. Без Распутина-младшего ушли... А государь, оказавшись полноправным хозяином в ставке, занялся демонстрацией своей любви "к раненым и увечным воинам".

По железным дорогам затарахтели поезда с красными крестами имени Александры Федоровны и всех ее четырех дочерей, а вслед за ними опять пошли вагоны с иконами и карманными молитвенниками.

Самодержец во мгновение ока окружил себя всякого рода карьеристами, циниками и подхалимами в военных мундирах.

Сидя в окружении подобных "патриотов Родины", Николай то и дело проводил всевозможные совещания, срывая с фронта людей, от которых там зависело или могло зависеть многое. Одно из них было назначено на 9 сентября. Сейчас, конечно, практически невозможно ответить на вопрос: знал ли неприятель об этом факте, или же получилось случайно так, что именно в этот день он нанес массированный удар по русским позициям едва ли не по всему фронту.

В районе крохотного карпатского села Доброславка вел бой Оренбургский пехотный полк. Случилось так, что дрогнули под нажимом противника русские цепи: нет больше резерва патронов, чтобы продолжать схватку. Возникает паника, и, как водится, тотчас находится человек, который, ничего вокруг себя не видя, истошно вопит:

- Всем конец! Нас предали, братцы! Бежим!..

Уже погиб командир батальона, убиты все до единого офицеры. И находившаяся, по своему обыкновению, в гуще событий Римма вдруг понимает: чтобы спасти обезумевших от ужаса людей, нужно бежать вовсе не назад, где, наверняка, уже замкнулось кольцо окружения, а вперед, к ушедшим туда по флангам своим соседям. И она принимает решение, главное в своей короткой жизни...

С земли, перепаханной снарядами разрывами, поднимается крохотная и хрупкая девичья фигурка с красным крестом на белой косынке. Она простирает перед собой руку и, подхватив оброненную кем-то в горячке боя винтовку, кричит изо всех сил:

- За мной, солдаты! За мной! Впере-е-е-д!.. За мной!..

Случилось чудо: ее услышали, несмотря на грохот боя. И к ней со всех сторон потянулись солдаты. А она бежит, из последних бежит вперед, истоптанно крича:

- За мной, солдаты! Вперед!!!

И дрогнули враги, не сумев устоять перед надвигающейся на них неожиданной лавиной. Вот прорвано первое кольцо обороны неприятеля, второе. Мощное "ура", постепенно набирая силу, неумолимо ширится над полем.

Римма пытается даже улыбнуться от переполняющего сердце чувства радости победы, и вдруг - страшный удар в бок. Потом - еще один и еще, еще... Земля, замерев на секунду в немой неподвижности, стремительно бросается ей в лицо.

- Узнав о смерти Риммы, - вспоминал спустя многие десятилетия в Новгороде Учинский, - я немедленно приехал в Оренбургский пехотный полк. Это было нечто неопишемое...

На ее теле оказалось свыше двух десятков колотых ран: солдаты, бывшие свидетелями ее гибели, вспоминали, что Римму в буквальном смысле поняли на штыки... Должен сказать, что гибель ее вызвала среди солдат и унтер-офицеров чувство такого возмущения, что потери, понесенные немцами в этом бою, превышали все ранее зарегистрированные. Люди плакали, когда рассказывали мне о происшедшем. Не помню точно, но, кажется, и сам я тоже плакал.

Когда Учинский приехал в полк, там шел митинг, на котором один за другим выступали солдаты. Запомнилось одно выступление, с которым вышел председатель полкового солдатского комитета Василенко.

- Наша Римма, - сказал он, - жертва той войны, которая ведется русским правительством по сговору с правительствами других государств... Надо понимать это, солдаты!

Подобные слова вслух в Оренбургском пехотном полку были произнесены впервые. А потом собрание приняло совершенно неожиданную резолюцию: требовать от командования предоставления специального железнодорожного вагона, чтобы доставить тело девушки в Ставрополь, похоронить в родной земле. Так и записали в резолюции: не просить, а именно требовать!

Прибывший на следующий день из ставки командир полка молча прочитал врученную ему резолюцию и удалился в штаб, попросив оставить его одного. Оттуда он

позвонил командующему армией, который счел своим долгом поставить в известность генерала Алексеева.

- Ни за что! - категорически ответил начальник Генштаба. - Ежели мы по поводу каждого убиенного будем нанимать железнодорожные вагоны, чтобы отправлять драгоценные трупы на их родину, нам, полковник, скоро не на что будет купить табак!

- В полку больно уж беспокойно, господин генерал, - возразил командующий. - Граубе докладывает: депутации из соседних частей движутся сплошным потоком, с песнями, только что без красных флагов... Тело Ивановой завалено цветами, их собирают солдаты, порою пренебрегая даже обстрелом... Я не хочу сказать ничего страшного, но мне кажется, что отказ от предоставления вагона вызовет бурю возмущения среди солдат. Сами знаете, ваше превосходительство, - добавил он доверительным тоном, - какова ныне у нас тут обстановка... Как на пороховой бочке, того и гляди взорвешься. Хорошо еще, коли запал при этом подожгут с той стороны фронта. А ежели с этой?

Алексеев задумался.

- Не знаю, право, - ответил он. - Госпожа Иванова - и такие волнения! Не сгущаете ли вы краски? Не может же, самом-то деле, гибель какой-то медсестры решить судьбу целой армии?

- Боюсь, ваше превосходительство, что может. Иванова - не обычная сестра милосердия, у нее три Георгиевских креста. Да и меня самого она, честно говоря, приводила своим мужеством в восторг...

- Не знаю, право, не знаю... Впрочем, коли настаиваете, то извольте: я доложу главному.

Доклад Алексеева поначалу не вызвал у государя ровно никакого энтузиазма. Но неожиданную помощь начальнику Генштаба оказал один из начальников полевой жандармерии, поставивший государя в известность о том, что среди солдат назревает возмущение гибелью девушки, всеобщей любимицы, и черствостью командования, которое отказывается выделить вагон для транспортировки тела погибшей в Ставрополь. Могут быть неприятности...

- Хорошо, генерал! - махнул рукой Николай. - У нас и так слишком много дыр на мундире, чтобы зарабатывать еще одну, впутываясь в историю с этой русской Жанной д'Арк. Дайте вагон, назначьте сопровождающих. Словом, продумайте, как все это сделать получше и почище. И, самое главное, не вздумайте придавать всей этой истории слишком уж большой гласности...

Пока оборудовали специальный вагон, гроб с телом девушки стоял в вырытом подвале на льду. И именно за эти несколько дней, пока военные занимались не слишком свойственным им делом, произошло одно событие, которое просто-напросто не позволило "не придавать всей этой истории слишком уж большой гласности".

Как известно, Римма была на фронте представительницей организации Красного Креста, что достаточно хорошо всем было понятно. Вбешенное потерями, понесенными в бою, германское командование доложило о "сумасшествии" и гибели русской сестры милосердия в Берлин. История получила нежелательный оборот: представительница Красного Креста - и такой пассаж!.. В Генеральный штаб кайзеровских войск был приглашен начальник немецкого Общества Красного Креста генерал Пфюль: надо же как-то спасти положение, иначе русские обвинят их в глазах мировой общественности в зверском убийстве медперсонала...

Положение было и точно незавидным.

Созданный в Швейцарии еще в 1863 году Красный Крест вскоре стал организацией международной, а уже спустя год после своего возникновения его Женевской конвенцией был утвержден и статус нейтралитета раненых и больных, а также санитарного и административного персонала лазаретов и госпиталей. Флаг с изображением красного креста, повязка с ним на рукаве санитара или сестры милосердия должны были служить надежным средством от вражеских пуль на полях сражений.

Ко всему прочему, Россия принимала активное участие в работе Международного комитета Красного Креста, действовавшего в Женеве, а императрица Мария Федоровна даже соизволила пожертвовать в его фонд сто тысяч золотых рублей - для выдачи премий... за "лучшие изобретения для уменьшения страданий раненых и больных".

Словом, германская сторона ожидала со стороны русской, как видно, по поводу скандальной смерти сестры милосердия одних только неприятностей, нисколько даже не подозревая о том, что гласность в данном вопросе - совсем не на руку командованию противника. А ожидая этого, генерал Пфюль счел своим долгом нанести, как говорят военные, упреждающий удар.

Уже через сутки он прибыл в Женеву и передал в штаб-квартиру Международного комитета Красного Креста... официальный протест германской стороны. "Сестрам милосердия, - говорилось в нем, - не подобает совершать воинских подвигов, что вытекает из положения о нейтральности медицинского персонала".

Рассмотрев протест на своем заседании, комитет принял и опубликовал в печати особое мнение: нет, подобает! Если сестры милосердия по-настоящему любят свою Родину, если готовы пожертвовать за нее жизнью, они имеют право совершать названные подвиги!

Шум, поднятый западными газетами по поводу этой публикации, сделался сразу же едва ли не всемирным. И русское командование с горечью поняло: шила в мешке не утаишь, придется "давать ход" сообщениям о подвиге госпожи Ивановой.

Скорбный вагон с телом девушки еще держал путь к Ставрополю, сопровождаемый братом погибшей Владимиром, а Петроградское телеграфное агентство уже передало свое официальное сообщение от 18 сентября, которое и было напечатано всеми русскими газетами. "В пехотном Оренбургском полку, - говорилось в нем, - сестра милосердия Римма Михайловна Иванова, невзирая на уговоры офицеров, брата - полкового врача, все время работала под огнем. Когда все офицеры были убиты, она собрала к себе солдат и бросилась с ними на окоп, который взяла и тут же скончалась, оплакиваемая всем полком".

К оренбуржцам рванулись военные и штатские корреспонденты, сделавшие вскоре мельчайшие подробности гибели девушки достоянием общественности страны. Появились песни о ней, многочисленные рисунки художников, изображавшие ее подвиг.

Вот тогда-то генерал Алексеев и нанес главнокомандующему визит, с описания которого и начинается эта повесть. Михаилу Васильевичу не без труда удалось убедить упрямого Николая в том, что подобный случай следует теперь использовать как можно шире.

- Сам Бог послал его нам в руки, Ваше Императорское Величество, - говорил начальник Генерального штаба. - Давайте же сделаем все возможное для того, чтобы он, случай этот, помог нам поднять воинский дух солдат и офицеров, в чем армия наша, говоря откровенно, весьма нуждается!

Наградив посмертно Римму, сделав ее второй в истории страны женщиной - Георгиевским кавалером, Николай II идет дальше - подписывает Указ о пожаловании дворянства семье погибшей.

В Ставрополь следует строжайший приказ военного министра: похороны госпожи Ивановой должны быть непременно превращены в демонстрацию верности народной престолу Романовых. Предприимчивый же Алексеев считает своим святым долгом лично связаться с митрополитом Московским - дать кое-какие советы в связи со смертью девушки.

- "Не любите мира, ни того, что в мире, - цитирует он даже в разговоре Библию. - Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего".

Генерал не рискует приказывать, но намекает прямо и откровенно: надо использовать гибель Ивановой, еще совсем юной девушки, в целях воспитания верующих

на ее примере, надо трубить на всех перекрестках о ее верности престолу, дабы пример ее получил как можно более широкое распространение.

И вот уже во всех православных церквях России начинают звучать торжественные молебны во славу "рабы божией Риммы", отдавшей жизнь "за Бога, Царя и Отечество". Начинается самая настоящая спекуляция церковников именем скромной русской девушки. А власти поощряли эту спекуляцию, понимали, что большинство русских людей верят в Бога, в существование загробной жизни. А коль так, то почему бы не использовать гибель Риммы Ивановой в своих целях, почему не пригасить, благодаря ей, ширящееся народное недовольство войной и разрухой? На фронте воевать не хотят, дезертирство, как ржа, разъедает армию... Да плюс ко всему - большевики с их огромным влиянием на народ...

Так звучите же громче, церковные колокола! Раба божия Римма дает еще одну возможность для разжигания в стране военного психоза, для восстановления растерянных "патриотических" настроений...

Звучите, колокола! Его Императорскому Величеству очень выгодно ваше звучание.

СНОВА В СТАВРОПОЛЕ

И вот она возвращается в Ставрополь, к порогу родного дома, которому всего несколько месяцев назад сказала слова прощания... Возвращается в простом деревянном гробу, обложенном сухим льдом.

Обгоняя ее, летит в губернский город телеграмма на имя губернатора от командира 31-го армейского корпуса генерал-адъютанта Мищенко от 21 сентября. Она гласит: "Государь император 17 сентября изволил почтить память покойной сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой орденом Св. Георгия IV степени. Корпус с глубоким огорчением и соболезнованием свидетельствует уважение семье покойной, вырастившей героиню - сестру милосердия, о чем прошу сообщить родителям и родным, жителям на Лермонтовской улице, 28. Крест по получении будет выслан".

Ставропольский губернатор Б. М. Янушевич, собрав приличествующую случаю компанию из городского полицмейстера подполковника М. М. Старосельского и управляющего своей собственной канцелярией, торжественно вручил Михаилу Павловичу 23 сентября поименованную телеграмму. И в тот же день ставропольские газеты оповестили: 25 сентября в десять часов вечера в город прибывает прах героини Риммы Ивановой. Правда, не обошлось и без курьеза: в специально выпущенной листовке кто-то перепутал время прибытия поезда. Получилось, что вокзал был полон народа и утром, и вечером.

Газеты, чтобы как-то исправить допущенную ошибку, поясняли: в десять вечера, сразу после прибытия поезда, на вокзале будет отслужена первая панихида. 25 сентября в девять часов утра похоронная процессия двинется с вокзала по Николаевскому проспекту и Воронцовской улице, где у Ольгинской гимназии будет совершена лития, затем прах покойной будет оставлен на ночь в Андреевской церкви, где она так любила бывать при жизни.

А на всех городских столбах и заборах в эти часы солдаты-инвалиды расклеивали приказ начальника местного гарнизона полковника Зайцева: "Завтра в десять часов вечера, - говорилось в нем, - в губернском центре ожидается прибытие на вокзал траурного поезда с телом национальной героини России Риммы Михайловны Ивановой. Участие во встрече поезда могут принять все желающие, разумеется, при строгом соблюдении необходимого в таких случаях порядка. Всем военным чинам велено выстроиться по пути следования траурного кортежа от железнодорожного вокзала к Андреевскому собору, а находящимся в строю нижним чинам для салютационной стрельбы при опускании тела погибшей в могилу выдать по три патрона".

Опередив траурный поезд, в Ставрополь пребывает со специальным фельдшером венок с серебряной лентой от Великого князя Николая Николаевича: монархическая демонстрация должна быть обставлена со всею торжественностью.

Венок был таким огромным, напоминал своими размерами тележное колесо, только намного толще и тяжелее. Когда его доставили с вокзала в дом Ивановых, Елена Никаноровна, кажется, впервые по-настоящему поверила в смерть дочери.

Она подошла к венку и положила на него вздрагивающие руки, а потом без крика, без единого стога упала на него всею тяжестью своего массивного, начинающего стареть тела.

Когда ее подняли и уложили в постель, она не отвечала ни на чьи вопросы и только, уставившись невидящими глазами в потолок, изредка произносила одно короткое слово:

- Пить!

Ей подавали воду, но кружка только постукивала о дрожащие зубы, вода проливалась на пододеяльник, а Елена Никаноровна закрывала глаза. Спустя несколько минут, снова открывала их, снова повторяла:

- Пить!

Михаил Павлович, получив сообщение о гибели дочери, первые три дня вообще не ходил на службу. Запершись у себя в кабинете, он, никого не принимая и не отвечая на стуки и обращения к нему, по-черному пил. Слуга, на цыпочках подходя к двери, слышал из-за нее какое-то невнятное бормотание, всхлипывания. Через три дня, однако, Иванов вышел из своего добровольного затворничества - с опухшим красным лицом, но, несмотря на крепкий перегар, совершенно трезвый, прошел к жене. И, усевшись рядом с постелью, устало сказал:

- Все, больше так пить не буду. На всю жизнь напился, да и... ей это не нравилось...

Он замолчал тяжело, как умеют молчать только мужчины, которым не пристало выказывать всю безмерность своего горя воплями и причитаниями, позволяющими женщинам столь быстро приходить в себя после любых потрясений. Правду сказать, в эти дни к Иванову никто особенно не навещался. Раз только явилась делегация местных гимназистов, принесших папку, содержащую их восторги по поводу героизма Риммы.

И еще был один визит. Вместе с чиновником по особым поручениям от губернатора притащился расфраченный субъект средних лет, напоминавший внешним видом спившегося российского интеллигента, назвавшийся писателем Наживиным и отрекомендованный Иванову в качестве крупнейшего литератора, специалиста пера и крупнейшего знатока русской действительности.

- Ах, ах, какая беда! - почти радостно сказал он. - Примите и прочее... Впрочем, нет худа без добра, а? Ведь теперь о вас, папаша, вся Россия заговорит, а?

Он без всякого приглашения уселся в кресло и, по-приятельски подмигнув хозяину дома, доверительно спросил, достав толстый блокнот и "вечное" перо:

- Расскажите мне что-нибудь о ней. Только не вообще, а что-либо такое, эдакое... интимное, что ли! Романчики там, любовные интрижки. Были ведь, а?

Михаил Павлович устало показал рукой на дверь:

- Вон отсюда, сударь!

- Что вы сказали? - изумился писатель.

- Уходите прочь из моего дома! Я не желаю вас видеть!

... Когда стало известно о том, что тело Риммы решено доставить для совершения обряда погребения в Ставрополь, явился к ним и сам протоиерей Никольский.

Выразив свою великую скорбь по поводу столь большого несчастья, постигшего семью его старинного друга и приятеля, он долго молчал, сидя в кресле и потягивая анисовую. Потом сказал:

- А ведь, Миша, если говорить по чести да совести, то ведь такой смерти только позавидовать можно. Не сомневаюсь, что только в раю будет ее ангельская душа,

отлетевшая на небеси. Мы, духовенство, решили ее у себя похоронить, в соборной ограде, рядом с архиепископами, усопшими в прошлые лета... Кто знает, может статься, не останется ее праведная жизнь не оцененной церковью? Может, когда-нибудь даже канонизируют ее церковь наша православная? Думаю, ничего в том не будет удивительного или необычного...

Признаться, старший Иванов пропустил тогда слова своего приятеля мимо ушей: в одно они влетели, а в другое вылетели. Даже усмехнулся, вспомнив о них потом: о какой такой канонизации болтает отец Симеон? Его дочь - святая? "Святая Римма"?! Принять в канон, то есть занести в список святых, признаваемых церковью, его родную дочь?!

Все эти разговоры показались ему глупостью, явившейся прямым следствием неумеренного употребления Никольским анисовой. Впрочем, каждый волен говорить о чем ему нравится! Но если серьезно: ведь есть и правило церковное - святыми объявлять усопших не раньше, чем после их смерти минут шесть поколений...

В день прибытия траурного поезда рано поутру в дом Ивановых нанес визит и сам полковник Зайцев, больше похожий на кабана, нежели на длинноухого, которому обязан был происхождением своей фамилии. Огромного роста, с лоснящимся красным лицом, он степенно опустился на застонавший под ним диван и, отведя в сторону шашку, с каковой не расставался по случаю военного времени, прохрипел:

- Примите мои соболезнования, господин Иванов. Да. Но, поскольку мы мужчины, давайте договоримся о церемониале сейчас же.

- О чем... договоримся?

- О церемониале. Имею предписание провести все на высочайшем уровне и в данной ситуации очень рассчитываю на вас как на отца покойной патриотки и самого патриота русского. Да!

И полковник, солидно отдуваясь, изложил перед старшим Ивановым разработанный гарнизонным начальством план торжественной встречи траурного поезда.

Как только поезд остановится, из вагона выходит старший сопровождающий его офицер и докладывает обоим - полковнику Зайцеву и отцу покойной героини Риммы о благополучном прибытии поезда. Затем офицер становится рядом с ними, держа шашку в положении "наголо". Звучит команда "смирно!", и гарнизонный оркестр исполняет гимн. После этого дается команда "вольно!", солдаты выносят на руках гроб с телом покойной, над коим склоняются знамена двух расквартированных в настоящее время в Ставрополе батальонов. Потом - торжественная панихида, после коей должен выступить лично Михаил Павлович, сказав как можно громче, что гордится дочерью, отдавшей жизнь за царя. Несколько слов произнесет и его супруга. Хорошо будет, если она при этом всплакнет. На ночь гроб будет оставлен в церкви. И ежели у супругов Ивановых будет такое желание, то он, полковник Зайцев, может дать разрешение им провести ночь наедине с прахом дочери.

Михаил Павлович поморщился, словно от колик в пояснице.

- Не буду я выступать, ваше превосходительство, - сказал он.

- То есть как это? - выпрямился от удивления Зайцев. - Как не будете?

- А вот так! Не буду - и все. Почему это я на похоронах собственной дочери должен разыгрывать из себя паяца? Ей же двадцать годов от роду всего! Ей бы жить да на белый свет радоваться! А вы ее - во гроб, да еще и пляску на крышке ейного гроба устроить рветесь!..

- Ну, уж увольте, Михаил Павлович, - попытался спасти положение полковник. - Понимаю, дорогой мой, всем своим сердцем понимаю, сколько велика ваша утрата! Но ведь не воротишь же, дорогой мой! Оттуда никого не удавалось воротить... Так давайте же исполним свой долг пред покойной - похороним ее, как того заслужила, голубица невинная! Судите сами: четыре Георгия, из коих последний - офицерский, - такого среди дамского полу сто лет не бывало! Государь, сказывают, самолично хотел приехать на похороны, да дела не пустили с фронта...

- Государь или не государь, - тихо, как бы израсходовав все свои силы сразу, ответил Иванов, - а только не буду я там произносить никаких речей, не буду кривить душой. Я сам когда-то солдатом был, сам воевал, если знать хотите... Но то были войны, а эта - так себе... непонятное что-то... И в этом непонятном я потерял самое дорогое, что имел, что у меня было... Ведь жизнь моя с ней, моей девочкой, кончилась...

Вслед за полковником, спустя некоторое время, снова появился Симеон Никольский.

- Напрасно противишься, Миша, - говорил он, положив руку Иванову на плечо. - Гордиться дочкой надо, а ты Бога гневишь своим упрямством... Да хорошо еще, если одного Бога: Он далеко. А вот коли рассердишь тех, которые поближе, - это похуже будет. Одумайся, Миша!

На вокзальном перроне, как всегда, пахло паровозной гарью, даже несмотря на опустившийся несколько часов назад липкий и влажный туман, что в это время года в Ставрополе - явление не больно частое.

Приближающегося состава долго не было видно, а завокзальный семафор мерцал еле заметным красноватым пятнышком. Наконец пятнышко это поменяло цвет - превратилось в зеленоватое. И Иванов понял: поезд заходит на пристанционные пути. Он глянул с чувством жалости и какого-то невольного страха на жену - она стояла, словно вылепленная из гипса...

И вот подошел поезд. Он был коротким - всего два вагона да паровоз.

Впрочем, давайте лучше сейчас вместо свободного пересказа событий вместе перечитаем отчет, опубликованный в ставропольских губернских газетах.

"Несмотря на позднее сравнительно время на станцию железной дороги для встречи тела Риммы Михайловны Ивановой прибыло довольно много народа: бывшие ее учителя и воспитатели, подруги по гимназии, сестры милосердия, с которыми Римма Михайловна служила в ставропольских госпиталях, знакомые вообще.

К вагону, в котором ехал брат убитой, собралось много народа, бывшего свидетелями трогательной встречи рыдающих матери и отца, окруженных родными и близкими, с сыном их.

Так как мать жаждала взглянуть на прах безвременной, но славной почившей дочери, то вагон, в котором было привезено тело, поспешили открыть. Вскоре появилось духовенство и началась панихида.

С тяжелым чувством слушал народ скорбные слова рыдающей матери, изредка вырывавшиеся у нее и мешавшиеся с похоронными напевами клира:

- Деточка ты моя, маленькая ты моя Риммочка!

Бедной женщине неоднократно становилось дурно, и сын оказывал ей медицинскую помощь.

Многие из окружающих плакали при виде неутешного горя матери, потерявшей горячо любимую единственную дочь.

Но вот кончается панихида, дьякон делает возгласение, и хор поет "Вечную память". Медленно расходится народ, уезжают родственники, уводят плачущую мать, и тело остается до девяти часов утра следующего дня на вокзале.

26 сентября часов с семи утра толпы народа стали прибывать на вокзал. Затем стали прибывать воинские части, которые были поставлены шпалерами вдоль шоссе от вокзала вверх по Николаевскому проспекту и далее. А на части улицы Л. Н. Толстого стояли цепью воспитанницы старших классов Александровской женской гимназии.

К началу панихиды, определенной предварительным церемониалом, в вокзал прибыли преосвященный Михаил духовенством, начальник губернии Б. М. Янушевич, военные и гражданские власти, представители города и земства, учебное начальство, воспитанники средне-учебных заведений и старших отделений начальных училищ, представители общественных организаций и масса народа.

После краткой литии преосвященной епископ Михаил сказал слово о великом подвиге сестры милосердия. Затем тело героически погибшей девушки в простом деревянном гробу, какой только можно было найти на передовых позициях, было поставлено на катафалк, и печальная процессия двинулась в город.

За катафалком шли родственники покойной, губернские власти, делегации, тысячная толпа, далеко растянувшаяся по улице, духовой оркестр и войска.

На звонницах Троицкого собора, Кафедрального, Казанского собора, при церкви Ольгинской гимназии, при военной церкви госпиталя, у архиерейского дома во время процессии с телом героини Риммы раздавался печальный перезвон колоколов.

Шествие сопровождалось молитвами церкви и речами священнослужителей, преподавателя Ольгинской гимназии и гимназистов первой гимназии.

Перед панихидой по Римме выступил сам преосвященнейший Агафедор - архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский..."

Так писали газеты...

- Римма наша родилась, - размеренным и заунывным голосом вещал архиепископ, - в ночь на пятнадцатое июня, и сегодня мы вновь вспоминаем об этом событии. Родители ее рано пробудили в ней религиозные нравственные настроения. Рано проявила она свою любовь к Богу и ближним. Непостижимы пути господни! Волею судеб Римма Михайловна из сестры милосердия преобразается в предводительницу войска и блистательно исполняет сей долг. Но вражеская пуля смертельно ранит героиню, и она падает бездыханной на поле брани.

Увлечшись, архиепископ, толком даже не знавший, от пули или от штыка погибла Римма, воскликнул:

- Какая счастливая сия судьба!

Гроб простоял всю ночь, охраняемый родственниками покойной. На следующий день снова была отслужена божественная литургия, на сей раз во главе с другом семьи - протоиереем Симеоном Никольским.

- Помяни, Господи, - басил он, - рабу твою, деву Римму, на брани убиенную, во царствии твоём!

На совершение великой панихиды снова вышел Агафеодор. Гроб покрывали, как сообщила газета "Северо-Кавказский край", сорок шесть весьма красивых венков.

"..Ко времени выноса тела, - писала эта газета, - зрители были на деревьях, на оградах монастыря и духовной семинарии, образцовой школы.

В заключении богослужения последнюю речь сказал протоиерей Симеон Никольский.

- Вся Россия скорбит, ибо Римма отныне - дочь всея России, как и - слава мира. Да будет же ей, деже Римме, на сердце господнем вечная память в славе неба. Вера в Бога - спасителя мира жила в ее душе, и бессмертный дух ее может сказать над бранным ее телом "Под крестом - моя могила, на кресте - моя любовь!" Но земное - на земле. А духу бессмертному пред Богом и человеком - вечная память!

Гроб тихо опустили в могилу. Священнослужители бросили горсть земли со словом "Господня земля и исполнение ее вселенная и все живущие на ней!"

Раздались салюты батальона войск. В могилу посыпались цветы, стали засыпать могилу и прах героини навеки, возложили венки."

Сейчас, спустя так много лет после описываемых событий, автору повести удалось отыскать только одного оставшегося в живых участника похорон Риммы. Им оказался доцент, кандидат технических наук из Харькова Алексей Александрович Лесюис, который вспоминает:

- Похоронили Римму в Андреевской церкви, на подворье, как заходишь - налево могила. Сразу у входа стояла часовенка Светланы Стояновой (у нас ходили слухи, что эта девушка не умерла, а просто спит в летаргическом сне), а дальше - третья или четвертая - могила Риммы Михайловны.

Алексей Александрович нарисовал схему подворья церкви, указав место, где, по его мнению, находится могила Риммы.

Жизнь человеческая... Приходит она к нам - и уходит. А вот проживают ее люди по-разному. Для одних она - способ пристроиться получше да почище, поспокойнее да повыгоднее. Для других - что вечно кочующий вагон в составе поезда дальнего следования: сегодня - здесь, завтра - там. Такие люди не привыкли, да и, наверное, просто не могут привыкнуть жить без движения, не могут сидеть у сытного и большого котла на теплом и уютном припечке жизни.

Весть о гибели простой и скромной девушки сразу же всколыхнула всю Россию, став неожиданно грозным аргументом в руках людей, ведущих антивоенную пропаганду: просчитался, жестоко просчитался генерал Алексеев!

Популярность Риммы была огромна. Этому способствовало и печатное выступление генерала Стефановича, который чисто по-солдатски признался в своем "пригрешении": оказывается, не желая сразу показать перед начальством, что зачислил в полк без особого на то дозволения доброволицу-санитарку, он приказал поначалу внести ее в полковые документы под мужским именем Рима Михайловича Иванова. И только потом, когда тайное, как водится, сделалось явным, приказал писарям "превратить" мужчину Иванова в девицу Иванову, что и было сделано.

Газеты и журналы России, многие зарубежные издания запестрели стихами, поэмами и одами, всевозможными посвящениями Римме и ее подвигам.

Свою собственную оду на смерть их героической сослуживицы сочинили и однополчане Риммы - солдаты и унтер-офицеры 105-го Оренбургского пехотного полка. Ода эта была опубликована сразу в нескольких московских журналах. Заканчивалась она следующими строками:

"За матушку за Русь, вперед, за мной!" И смело,
Забыв себя и смерти страх презрев,
Сестра летит, подставив пулям тело;
Солдаты - вслед за ней, и каждый - грозный лев.
Свирепым, бурным штыковым ударом
Истерли в прах, расплющили врага.
Окоп был взят, но взят он был не даром -
Лежала женщина, спокойна и строга.
Казалось, слышались ей песни райской звуки,
И в небо устремлен незрячий взгляд очей...
Солдат рыдающих мозолистые руки
С глубокой нежностью закрыли веки ей...

Сейчас, спустя многие десятилетия после всего происшедшего, читаешь эти неказистые строки и невольно думаешь: как все-таки беззаветно и безоглядно может любить русская душа! Любить пронзительно, до боли... И каким же надо быть чистым человеком, чтобы удостоиться чести стать объектом этой могучей любви!

... Плохо, очень плохо пошла у Михаила Павловича жизнь после смерти дочери! Жена все время болела, стала раздражительной, плаксивой. Сидеть возле больной, постоянно выполнять ее многочисленные просьбы - дело необходимое, но скучное. Единственная отдушина - потихоньку ускользнуть, пользуясь ежедневным послеобеденным визитом доктора, в недалёкую рощицу - прогуляться в одиночестве, к которому с каждым днем он чувствовал все более сильное влечение. Он любил бродить среди густых зарослей, где, увидев знакомого, можно было всегда свернуть в сторону без риска с ним встретиться. Побывав в этих зарослях сегодня, Михаил Павлович воротился в дом. В комнату супруги пошел не сразу, а молча присел прямо в коридоре у небольшого журнального столика, на котором лежали свежие газеты. Читать не стал, его взгляд упал на висевший на стене и забранный в простенькую деревянную рамочку портрет дочери.

На чуть задумчивое, печальное лицо ее... Уж не предчувствовала ли она свою скорую кончину? Невольно вздрогнув от этой, леденящей душу мысли, Иванов предался воспоминаниям, что делал в последнее время весьма часто. Так всегда бывает, когда вдруг уходит из жизни до боли близкий и родной человек. Был он жив - все вроде бы само собой разумеется, а ушел навсегда - и будто жизнь останавливается, а из всех ее цветов остается только один черный - страшный цвет невосполнимой утраты...

Он думал о дочери, которую впервые увидел поздно ночью 15 июня 1894 года, часа через три после ее появления на свет.

Девочка была слабенькая и даже не кричала, а только едва слышно попискивала. Думали даже, грешным делом, что и вообще не жилица окажется на белом свете, но ничего, вошла потихоньку в силу...

Росла она общительным, довольно подвижным ребенком. Уже в два года начала запоминать стихи, коротенькие сказки. А в пять, играя со своими сверстниками в войну, непременно изображала из себя солдата.

- Кем ты будешь, когда вырастешь? - спрашивал ее отец.

- Воином, - гордо отвечала она под покровительственно-снисходительные улыбки взрослых.

- А ты, Володя? - тут же интересовались у брата, который был старше Риммы на два года и восемь месяцев.

- А я - доктором, - важно отвечал мальчишка. - Буду лечить солдат.

Судьбе было угодно, чтобы именно так все и случилось...

Римма надела шинель солдата, а Владимир был призван в армию еще до того - с пятого курса Харьковского университета, где заканчивал изучение медицины.

В первый класс Ольгинской гимназии в Ставрополе Римма поступила осенью 1902 года и все время считалась там одной из первых учениц.

Почти перед выпуском случилось на Архиерейском пруду происшествие: один из младших гимназистов, сорвавшись с деревянных подмостков, начал тонуть. Римма бросилась в воду прямо в парадном платье. И вытащила почти захлебнувшегося мальчишку! Приходили тогда домой его родители, благодарили.

Год тысяча девятьсот тринадцатый - конец учебы в гимназии, пришла пора поступать в университет. Но в сердце родителей закрадывается сомнение: девушка хрупка, слаба здоровьем, выдержит ли нагрузку? Отговаривать ее будет нелегко, но надо бы поукрепить, чтобы не случилось срыва в учебе.

С трудом, но упростили родители дочь с университетом немножко повременить, хотя бы годик - надо набраться сил, а там уж, если тебе очень хочется - иди, учись! По просьбе родителей Римма поехала погостить в Подольскую губернию, к родному брату Елены Никаноровны - подполковнику 76-го пехотного полка Н. Н. Данишевскому. Побыв у дяди два месяца, вернулась домой такой же хрупкой и слабой на вид, но зато научилась во весь опор скакать на коне! В это самое время один из земских деятелей уговорил ее поехать учительствовать в Петровское село...

Дверь в комнату отворилась без стука - вошел Симеон Никольский. Он в последние дни бывал в доме Ивановых часто. Его приходам Михаил Павлович поначалу даже несколько радовался, - насколько, конечно, это было вообще возможно в его положении: старый приятель оказался единственным из окружающих, кто мог подолгу разговаривать с Еленой Никаноровной, утешая ее всевозможными рассказами о царствии небесном. Но иногда Никольский не отдавал себе отчета в том, что говорит. Например, "утешал" больную женщину тем, что дочь ее в ангельском сонме, терпеливо и без ропота ждет встречи со своей горячо любимой матушкой...

Частое и назойливое повторение всей этой чепухи начало раздражать хозяина дома. И теперь он, даже не удосужившись ответить на приветственный кивок Никольского, только вопросительно посмотрел на него.

- Там к тебе, Михаил Павлович, юноши с визитом пожаловали, - сказал Никольский. - Ты бы их принял, пожалуй. Гимназисты. Надежда наша.

Во всякого рода визитерах в доме Ивановых недостатка не было. Приходили самые разные люди - кому надо, и кого, что называется, век бы глаза не видели. Вот вчера появился старичок в вытертом мундирчике. Невысокого роста, в нос говорящий.

- Могу ли я иметь счастье видеть благочестивого родителя нашей прославленной героини? - без околичностей начал он. - Имею к нему дело воистину неотложное.

- Я вас слушаю.

- Вот и хорошо-с, - ухмыльнулся посетитель. - Пришел, так сказать, выразить вам сочувствие по поводу тягчайшей утраты и сказать при сем такое прочее, что приличествует случаю. Так что примите и прочее.

Он остановился и снова внимательнейшим образом посмотрел на Михаила Павловича. Тот поморщился, но ничего не ответил, что, однако, гостя ни в коей мере не смутило.

- Поверьте, уважаемый господин Иванов, продолжил он как ни в чем не бывало. - Понимаю ваше горе отцовское. Сам, можно сказать, в некотором роде без родителей произрастал, да-с. И, как видите, ничего, в люди выбился. Учительствую в селе-с. Селяне меня уважают и любят, а я сам - ихний благодетель, хотя доходы имею не ахти какие. Да-с.

"Неужели и этот денег пришел просить? - мелькнула в голове Иванова мысль. - Побесились все вокруг, что ли? Ходят и ходят с протянутой рукой... Вот и третьего дня двое были..." Посетитель, будто подслушав тайные мысли хозяина, плутовато улыбнулся и с видом заговорщика наклонился к самому уху Михаила Павловича:

- А я к вам, господин Иванов, нижайшую просьбицу имею. От вас одного, можно сказать, счастье мое теперь зависит.

- Да нет у меня денег, - устало откинулся в кресле Иванов. - Поверьте совести, ничего нет! Это просто кто-то слухи по городу пустил, будто государь меня в память о заслугах дочери состоянием пожаловал. Ничего подобного...

- Да ведь я же вовсе не о том, господин Иванов! Неужто на нищего видом схож? Я живу честным трудом. Учительствую в селе! И не о милостыне просить пришел, нет! Вот если бы вы... попросили за меня, что ли? Вам не откажут... Льготный пенсион мне нужен.

- Пенсион? А при чем тут я? Или я ослышался? Какой еще такой пенсион? Я эти вопросы не решаю.

- Еще как решаете! - старичок подался вперед. - Я ведь, можно сказать, как и вы тоже, в некотором роде - воспитатель вашей дочери. И моя заслуга, пусть махонькая, а в ее подвиге тоже есть. Ведь я - Коростылев Митрофан Васильевич именуюсь! Заведую школой в Петровском селе, где и служила на ниве нашего народного просвещения наша... гм... Римма Михайловна. Неужто она вам ничего обо мне не сказывала?

- Что? Что вы... сказали? - Иванов побледнел, руки у него затряслись. - Так это вы?! Как же вы... как совести у вас?... Вон отсюда!

Коростылев недоуменно уставился на него. И примирительным тоном, каким обычно говорят с больными людьми, сказал:

- Да ведь я ничего... Я просто думал... Господи, что только горе с людьми делает! Ну, да ничего, господин Иванов! Я позже зайду, потом как-нибудь...

А сегодня вот юноши какие-то пожаловали, о коих доложил Никольский. Придется принять, тем более, что визитеры стояли уже на пороге. Впереди - остроносенький, чем-то похожий на совенка, рыжеволосый гимназист. За ним - трое его товарищей.

- Прошу вас, господа!

Они вошли, чинно расселись в кресло и на диван. Потом совенок встал, достал из нагрудного кармана приветственный адрес. И начал громко, с выражением его зачитывать. Адрес был длинным и кончался призывом вести войну с немцами до победного конца, отомстить им за смерть Риммы. И тут Михаил Павлович не выдержал.

- Вы ничего не понимаете в жизни, ребята! - сказал он. - Ничего, совсем ничего... Ведь мою дочь убили не немцы, совсем не они... Ее убили те, кто затеял эту войну, кто ведет ее, преследуя личные интересы... Будь они прокляты, те люди!

Утром его вызвал к себе сам полковник Зайцев. Не предложив сесть, сухо спросил:

- Как прикажете, господин Иванов, понимать Ваше вчерашнее заявление? Горе - горем, но изрыгать даже в горе хулу на истины, которые являются неколебимыми, никому не дозволено. Я буду вынужден назначить по данному обстоятельству подробнейшее дознание.

- Какое дознание? Какое обстоятельство?

- Вот оно, обстоятельство! - полковник протянул ему лист бумаги. Это было заявление Никольского. Михаил Павлович встал, и, держась рукой за стену, направился к выходу из кабинета.

- Вернитесь! - услышал он голос Зайцев, голос тихий, но злой.

Иванов даже не оглянулся. Закрыв за собой дверь, вышел и, почувствовав, что силы его оставили, опустился прямо на ступеньку высокого каменного крыльца.

Мимо шли люди. Много людей. И никому из них не было никакого дела до беззвучно плачущего рядом с ними старика.

ЭПИЛОГ

... Процесс одевания был показан во всех подробностях. Поднявшись с постели, застланной кружевным, ослепительно свежим бельем, Римма томно улыбнулась и отбросила в сторону одеяло. Не одергивая поднявшуюся намного выше колен тонкую полупрозрачную рубашку, она сонно посмотрела по сторонам, подошла к стоящему в углу палатки серебряному тазику с ключевой водой. Умывшись, девушка повернулась спиной, сбросила с себя рубашку и начала неторопливо облачаться в предметы дамского туалета. Затем натянула на стройные, но несколько полноватые ноги длинные чулки в черную сетку, не забыв закрепить их резинками. Наконец надела белый шелковый халатик с красным крестом на груди и вышла из палатки на улицу, распустив небрежно длинные - до самого пояса - роскошные волосы. Увидев ее, солдаты останавливались в изумлении, шептались:

- Наша Римма, святая Римма!

Потом случилось нечто совершенно неожиданное: вдали показались черные столбы дыма, заработала артиллерия. Римма бросилась туда. И видит: бегут солдаты. Не раздумывая ни минуты, она бросается в самую гущу бегущих, поднимает призывно руку. Они останавливаются, а потом все бросаются за ней, подхватившей на поле брани обретенную кем-то русскую трехлинейку.

Еще минута - и она поднята на неприятельских штыках, но наши солдаты тем временем врываются во вражеский окоп и начинают истреблять немцев своими штыками, стараясь попасть им преимуществу в животы.

А возле старой церкви умирает Римма. Ее одежда порвана, одна грудь оказалась обнаженной. Собравшиеся вокруг солдаты с благоговейным восторгом смотрят на свою героиню. А она, сладостно улыбаясь, говорит им:

- Слава великому Господу! Нынче я свижусь с ним в раю!..

Киноаппарат еще стрекотал, когда Михаил Павлович не выдержал - встал, шумно отодвинул в сторону стул, вышел из зала кинотеатра "Биоскоп".

Через два дня местная газета напечатал письмо Иванова, в котором он протестовал против идущего в "Биоскопе" фильма, оценивая его как "грубый фарс, плод досужей фантазии антрепренера, который, показывая портрет героини-артистки под именем моей дочери, преступил все правила приличия и чести..."

В тот же вечер Михаил Павлович имел разговор с супругой. Говорил он кратко, негромким, но столь решительным голосом, что привыкшая главенствовать в семье Елена Никаноровна не решалась прервать мужа хотя бы однажды.

- Государь за подвиги дочери дворянством нас пожаловать изволил, - тяжело вздыхал Михаил Павлович, съезжившись в кресле. - Только зачем оно мне, дворянство то, коли вся Россия - словно котел бурлящий? Мы - старики, и то видим, а каково молодым? Вон и Владимир наш, замечаю, запоем читает нелегальщину, да и Римма... Я, мать, тебе раньше говорить не хотел, а показывать - тем паче... Вот письмо ее последнее...

Елена Никаноровна дрожащими пальцами взяла протянутый ей, изрядно потрепанный листок бумаги, сложенный вчетверо. Сквозь слезы запрыгали перед глазами буквы.

"Дорогие мои! Я спешу сообщить вам, что я счастлива! Я, наконец, поняла, кому и чему должна я служить всю свою жизнь! Я должна служить единственно моему дорогому, моему великому русскому народу, а вовсе не тем, кого я до сих пор столь наивно, столь ошибочно считала хозяевами этого многострадального народа.

Я встретила здесь, на фронте, людей, которые помогли мне до конца осознать эту истину, и теперь я ни за какие блага земли не отрежусь от нее.

Понимаю: наверное, не следовало мне писать вам всего этого... Но я хочу, чтобы вы, дорогие мои, знали обо всем этом, если вдруг меня не станет. Но если я вернусь с войны - я вернусь уже совсем другим человеком..."

Елена Никаноровна уронила письмо:

- Римма, девочка моя...

Михаил Павлович, словно и не замечая состояния жены, продолжал говорить спокойным, размеренным голосом:

- И еще одно, мать. Как ты знаешь, духовенство наше в Москву, к самому митрополиту депутацию посылало, просило дочь нашу канонизировать, в святые произвести. Я знаю: тебя эта мысль зело прельщает. Еще бы - "святая Римма"! На образах богомазы напишут, в святцы внесут... Только я сегодня письмо отправил: не дал своего согласия на канонизацию, благо, что его у меня спросили...

Михаил Павлович надолго умолк. В наступившей тишине едва слышно тикали большие беккеровские часы. Потом старик снова вздохнул и, посмотрев в упор на жену, сказал то, о чем, наверное, думал все это время:

- Святость - фарс, хотя власть предрежающим сейчас и очень выгодный! А я хочу, чтобы имя нашей Риммы осталось чистым и прекрасным...

Прошли годы. Работая над этой повестью, посвященной памяти замечательной русской девушки, автор вместе с заведующей отделом Ставропольского краеведческого музея имени Г. Праве И. А. Усовой пытался разыскать на подворье Андреевской церкви в Ставрополе могилу Риммы Ивановой. Изабелла Александровна, которая, кстати, очень помогла в работе над этой книгой, за что хочется сказать ей огромное спасибо, разыскала старенький любительский снимок могилы. Для печати он просто непригоден, но на нем хорошо просматривается часть каменной стены, ограждающей подворье.

По всей вероятности, стена эта за годы, прошедшие после описываемых событий, не перекладывалась, во всяком случае, у своего основания.

По характеру кладки мы довольно быстро определили место, где была могила девушки. И, подойдя к нему, обнаружили ушедшую в землю, затоптанную каменную гробницу.

Место это точно совпадало и с тем, которое указал на своей схеме харьковчанин Алексей Александрович Лесюис. Думается, что его следовало бы отметить хотя бы мемориальной доской - ведь без уважения к прошлому нет и не может быть подлинного уважения к настоящему и будущему...

И все-таки: почему же не сохранилась могила Риммы Ивановой? К сожалению, ответить на этот вопрос вовсе не просто. Вполне вероятно, что ответ на него хранят церковные архивы, к которым автор, к сожалению, в процессе работы имел весьма ограниченный доступ, пользуясь главным образом историческими источниками исключительно "мирского" происхождения. Кроме, пожалуй, одной лишь тонюсенькой брошюры шустрого протоиерея Симеона Никольского "Памяти героини долга сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой".

...Считаю необходимым хотя бы коротко рассказать о дальнейших судьбах героев книги. Михаил Павлович и Елена Никаноровна прожили недолго, закончив свой век в Ставрополе в двадцатых годах, похоронены они на одном из городских кладбищ.

Их сын Владимир вернулся с войны живым - с двумя орденами на груди и двумя ранениями в груди. После установления советской власти, за которую воевал в годы гражданской, работал по своей основной специальности в Ленинграде, предварительно завершив образование в Харьковском университете. Один из первых в стране получил высокое звание заслуженного врача республики.

Похоронен Владимир Михайлович в городе на Неве, над его могилой высится памятник. А вот над могилой сестры памятника так и не поставили. Почему?

В мае грозного тысяча девятьсот девятнадцатого в Ставрополе, по инициативе белого генерала А. И. Деникина, церковниками был создан так называемый "Юго-Восточный поместный собор русской православной церкви". Собище оголтелых черносотенных попов - врагов молодой советской власти, заседавшее на архиерейском подворье, в нескольких шагах от могилы Ивановой, издало ряд "воззваний" и "обращений" к верующим, призвав их бороться с "антихристами"-большевиками. Не забыли новоявленные "соборяне" избрать и Высшее церковное управление Юго-Востока России, в которое вошли самые реакционные из них во главе с архиепископом Митрофаном. "Гидра большевиков, - провозгласило это собрание "управителей", - и после всех ударов, нанесенных ей нашими доблестными армиями с их беспримерными вождями - патриотами-христианами, стоит еще с поднятой головой... Не опасаясь впасть в политику, уклониться от своей надмирной задачи вести чад своих к вечной жизни, церковь должна поднять и крест и палицу против этой гидры, как подняла бы она все оружие свое против антихриста..."

Читая это, думаешь: надо же, как разоблачились церковники перед миром, как показали свое истинное нутро, как размахивали своими "крестами и палицами"!

И не удивительно, что именно тогда, вскоре после "собора", по указанию Митрофана на кладбище у Андреевской церкви были сровнены с землей могилы многих людей, чьи жизни показались оголтелому попу не внушающими "полного политического и религиозного доверия". Не оказалась ли в их числе и могила Риммы Ивановой?

Так пусть хотя бы эта небольшая повесть будет скромным подарком русской патриотке, которая вынесла из-под смертоносного огня больше восьмисот раненых. Эта девушка принадлежит истории.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо пролога	1
Отпуск с поездкой домой	3
Один день из войны	8
Школа в Петровском селе	12
Сазоновский «крестник»	17
Вдвоем	22
Прощание	26
Дорога к славе	29
«Работа тяжелая и опасная...»	32
Наступление	35
Брат и сестра	42
Второй орден	48
Поворот судьбы	53
В Оренбургском пехотном	59
В день последний и после	62
Снова в Ставрополе	66
Эпилог	74